
Man Booker
International
Prize 2019
Небесные тела
Джоха Аль-Харти
Джоха Аль-Харти наделяет жизнью и голосом смутное пространство на границе памяти и забвения.
The New York Times

Небесные тела
Джоха Аль-харти

Аннотация
Джоха Аль-харти. Небесные тела
Мийя
Абдулла
Лондон
Абдулла
Асмаа
Луна
Абдулла
Материнство
Абдулла
Зарифа
Абдулла
Масуда
Абдулла
Мийя и Лондон
Абдулла
Мужья
Абдулла
Холя
Абдулла
Гадюка

Абдулла
Салима
Аззан и Луна
Абдулла
Зарифа
Аззан и Луна
Абдулла
Асмаа
Абдулла
Паучиха
Абдулла
Салима
Абдулла
Асмаа
Салима
Абдулла
Аззан и Луна
Невеста
Абдулла
Аззан и Луна
Абдулла
Лондон
Зарифа
Асмаа и Халед
Абдулла
Мужчина в пустыне

Холя
Абдулла
Халед
Асмаа и Луна
Мать Абдуллы
Кузен Марван
Сулейман
Масуда, все еще тут
Абдулла
Лондон
Холя
Абдулла

Аннотация

В самолете, летящем из Омана во Франкфурт, торговец Абдулла думает о своих родных, вспоминает ушедшего отца, державшего его в ежовых рукавицах, грустит о жене Мийе, которая никогда его не любила, о дочери, недавно разорвавшей помолвку, думает о Зарифе, черной наложнице-рабыне, заменившей ему мать. Мы скоро узнаем, что Мийя и правда не хотела идти за Абдуллу – когда-то она была влюблена в другого, в мужчину, которого не знала. А еще она искусно управлялась с иголкой, но за годы брака больше полюбила сон – там не приходится лишний раз открывать рот. Своя история и у ее сестер, Холи и Асмаа, у их матери Салимы, у своевольной бедуинки Наджии-Луны, полюбившей чужого мужа. Может, аль-Авафи и невелик, но у каждого здесь своя непростая судьба, свои горести и радости. Этот роман – удивительная панорама жизни мусульманского Омана, которая завораживает своей тихой глубиной и восточной атмосферой.

Джоха Аль-харти
Небесные тела

Jokha Mohammed al-Harthi
CELESTIAL BODIES
Copyright © 2010, Jokha Alharthi All rights reserved

Перевод с английского Виктории Зарытовской
Перевод стихотворений Геннадия Калашникова
Художественное оформление Юлии Девятовой

© 2010, Jokha Alharthi All rights reserved
© Зарытовская В., перевод на русский язык, 2020
© Калашников Г., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательствво «Эксмо», 2020

⁂

Man Booker
International
Prize **2019**

Jokha Mohammed al-Harthi

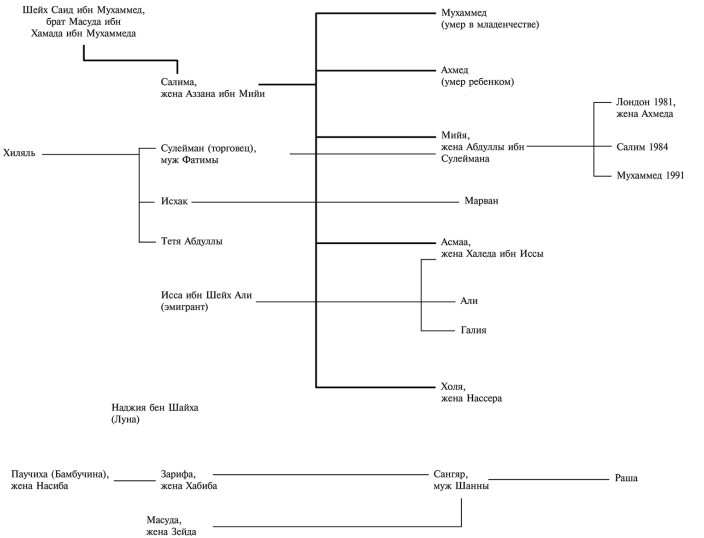
CELESTIAL BODIES

Джоха Аль-Харти

Небесные тела

МОСКВА
2020

Посвящается моей матери



Мийя

Мийя, занятая шитьем за черной швейной машинкой «Баттерфляй», пропадала от любви.

Безмолвная любовь, от которой каждый вечер она вздыхала. Волнами накатывали приступы плача, и она начинала дрожать всем своим худеньким телом. Порой ей казалось, что вот-вот сердце разорвется только от одного желания видеть его. Произнося утреннюю молитву, она поклялась: «Господь Всемогущий!.. Боже!.. Ничего не надо… Только взглянуть на него… Господи! Клянусь! Пусть не обернется даже в мою сторону… Только бы увидеть его». Мать думала, что у тихой бледной Мийи все мысли исключительно об отрезах ткани и нитках и что слышит она только жужжание швейной машинки. На самом деле, хотя Мийя и сидела как приклеенная за машинкой на деревянном стуле весь день и часть вечера и голову поднимала, только чтобы взять ножницы или вытащить катушки из пластиковой коробочки, до ее слуха доходили все звуки, которыми наполнен этот мир, и она могла разглядеть его во всех красках. Мать чувствовала

себя виноватой, что дочь плохо ест, и в глубине души надеялась, что талант мастерицы, равно как и ее скромность, будет оценен и ее введут в дом невестой. И вскоре жених нашелся.

Мийя сидела, склонившись над рукоделием, в углу зала, когда к ней с сияющим лицом подошла мать. Положив руку ей на плечо, она сообщила:

— Мийя! Дочка!.. Сын торговца Сулеймана сватается к тебе.

Мийя вздрогнула. Рука матери лежала на ее плече тяжелым грузом. В горле пересохло, и Мийе даже почудилось, что нитки обвились вокруг шеи, затягиваясь удавкой. Мать улыбнулась:

— Ну-ну… Я-то думала, ты уже взрослая, чтобы смущаться.

На этом все было кончено. Второй раз обсуждать не стали. Мать взялась за подготовку к свадьбе: выбирала наряды, смешивала благовония, заново перетягивала диванные подушки и разносила новость по родственникам. Сестры молчали, а отец полностью доверился жене — это ее девочки, в конце концов, да и свадьба — сугубо женское дело.

Мийя прервала молитву: «Господи!.. Я дала обет, не хочу ничего… Только посмотреть на него… Я обещала, не согрешу и никому не скажу

о том, что у меня на душе… Во всем зареклась… Так зачем Ты послал мне сына этого Сулеймана?! В наказание за мою любовь?.. Но я же не призналась ему и даже сестрам не рассказала. Зачем же Ты направил в наш дом сына Сулеймана? Зачем?!»

— Ты нас покинешь? — спросила Холя.

Мийя промолчала.

— Готова? — поинтересовалась Асмаа. — Выучила назубок наставления бедуинки дочке-невесте из «Книги преданий», что мы нашли тогда в чулане? — засмеялась она.

— Ничего такого там не было, — ответила Мийя.

Асмаа рассердилась:

— Да, тебе не до книг… Было такое в «Книге преданий», в красном переплете, на второй полке стоит… Бедуинка учит дочь, как подводить глаза сурьмой и как подавать блюда.

— Да, и что я должна смеяться, когда смеется он. И плакать, когда ему плохо. И довольствоваться тем же, — добавила Мийя.

— Да что с тобой, Мийя?! — вмешалась Холя. — Такого бедуинка не говорила… Ты имеешь в виду, что должна будешь делить с ним радости и печали?

— А кто о моих печалях подумает?

Слово «печали» прозвучало как-то непривычно, и настроение у сестер стало подавленным.

Когда Мийя впервые увидела Али бен Халефа, тот только вернулся ни с чем, без диплома, после нескольких лет учебы в Лондоне. Ее как молнией пронзило. Он показался ей настолько высоким, будто облако окутывало его сверху, и таким тонким, что ей хотелось заслонить его от внезапного порыва ветра. Благородные черты. Что-то от святого. Как он был не похож на других людей, которые потели, храпели во сне и бранились по поводу и без. «Господь мой, хочу только взглянуть на него еще раз. Клянусь Тебе!» Она повстречала его в сезон сбора фиников. Он стоял, прислонившись к стволу пальмы, сняв из-за невыносимой жары шапочку. Глаза наполнились слезами. Она присела у первой же водяной мельницы и разревелась.

Мийя стремилась соединиться с ним, стать одним целым. Каждой частицей своего естества она тянулась к нему, чтобы слиться навеки. При этом ее дыхание обрывалось, а пульс едва не останавливался. Всем сердцем она была с ним, совершенно выпадая из времени и словно растворяясь физически. Ее трясло, и она будто

проваливалась в иное измерение, посылая в его сторону мощный поток своих чувств. Она ждала от него знака. Любого знака, который показал бы, что ее послание до него дошло. Но ответа не было.

«Клянусь, не хочу ничего, кроме как увидеть его. Таким же, с проступившей на лбу испариной и рукой, обнявшей ствол дерева. С плодом финика, тающим во рту. Клянусь, никому не скажу о тех чувствах, что раздирают меня изнутри. Пусть даже не заметит меня! Кто я такая?! Девочка, не знающая ничего, кроме кройки и шитья. Не столь умная, как Асмаа, и не такая красавица, как Холя. Еще на месяц хватит у меня терпения. А потом Ты ведь позволишь мне увидеть его? Я обещаю, не впаду в грех, не помыслю даже ни о чем, что вызовет Твой гнев. Я и не думаю о том, чтобы коснуться его волос или руки. И не мечтаю стереть с его лба капельки пота, когда он встанет в тень под ветвями пальмы». Слезы у Мийи лились не переставая. А когда к ним в дом явился сын торговца Сулеймана, ей пришлось прервать молитву и вернуться к ней только после процедуры заключения брака. Все это из-за того, что клятва ее была неискренней и обман сквозил в каждом слове! Это все наказание за ее проступок!

Когда через несколько месяцев Мийя забеременела, то, помня рассказ матери о том, как тяжело та разрешалась, надеялась только на легкие роды. «Погналась во дворе за курицей, чтобы зарезать ее дяде. Он без предупреждения зашел к нам на обед. И тут от боли я свалилась на землю и стала перекатываться из стороны в сторону. Твой отец привел повитуху Марею. Едва завидев меня, она заключила: «Пора!» Помогла мне подняться, отвела в комнату, затворила наглухо двери, поставила меня ровно и подняла мне руки, приказав вцепиться как можно крепче в балку, вбитую в стену. Но ноги мне отказывали — подгибались, и она, да будет милостив к ней Аллах, завопила: «Что за срам!.. Дочь шейха Масуда собралась рожать лежа, стоять не в силах!» И я стояла, держась за балку, пока ты, Мийя, не выскользнула мне в шаровары, в которых запуталась, едва не задохнувшись. Но Марея вовремя разжала мне руки и вытащила тебя… Вот так, ей-богу, ни одна живая душа этого не видела… А сейчас вы едете в больницу в Маскяд и выставляетесь напоказ индускам и христианкам. Ей-богу, Мийя, тебя с сестрами я рожала стоя, что кобылица… Да помилует Аллах повитуху Марею… Когда обеими руками я хваталась за балку, она орала на меня:

«Ой и плохо тебе будет, если услышу твои стоны… Все так рожают… Позора не оберешься, если пискнешь… Обесчестишь себя, дочь шейха!» Я и слова не проронила, только все повторяла: «Господи, господи». А сегодня женщины рожают лежа, и все мужчины в больнице слышат их вопли… Пропал стыд… Вот так, ей-богу…»

Когда живот Мийи стал большим и округлился до того, что и спать было неудобно, она попросила мужа:

— Послушай! Я не рожу тут с повитухами, отвези меня в Маскяд…

— Тысячу раз повторял тебе: Маскат! Маскат! А не Маскяд! — не дал он ей договорить.

Но она, будто не слыша, закончила:

— Хочу рожать в «ас-Саада».

— Чтобы моего сына приняли руки христианки?

Мийя замолчала. Но когда срок подошел, он взял ее в дом своего дяди в Вади Удей, поближе к клинике иностранной миссии «ас-Саада», где на свет появилась их крохотная дочка.

Разомкнув веки, Мийя увидела свою мать, держащую на руках внучку, и снова провалилась в сон. Потом очнулась от того, что к груди приложили ребенка. Когда муж пришел посмотреть

на новорожденную, Мийя объявила ему, что хочет назвать девочку Лондон. Он рассудил, что, должно быть, жена бредит после родов. Но на следующий день, когда Мийя в сопровождении матери вернулась в дом дяди мужа, она повторила его родне, что девочку зовут Лондон… Жена дяди приготовила для нее наваристый куриный бульон, испекла тонкие лепешки и напоила настоем пажитника с медом, затем помогла вымыть руки, присела на край постели и обратилась к ней:

— Мийя, дочка!

— Да?

Она погладила Мийю по плечу.

— Ты не передумала давать ребенку такое странное имя? Разве кого так зовут? Лондон!.. Это ж название города… Не нашего, не мусульманского… Мы все в толк взять не можем… Ты в себя еще не пришла, потом еще раз обдумай, как назвать девочку. Можно в честь твоей матери — Салима.

Мать Мийи, услышав это, запротестовала:

— Зачем, уважаемая, называть моим именем, я все-таки еще живая как-никак! Вы так смерть на меня накличете! Если ребенок мое имя заберет, то и место мое среди живых займет. Жена дяди опомнилась.

— Боже упаси! Ведь многие называют детей в честь живых родителей, и те живут еще долго в добром здравии… Да убережет тебя, Салима, Аллах от всех напастей… Назовите ее Марьям, Зейнаб, Сафия… Как угодно, только не Лондон.

Мийя подхватила младенца и подняла над собой:

— А что такого в имени Лондон?..

Терпение у жены дяди было на исходе.

— Давай это не будет ее именем… Давай это просто будет прозвище, потому что она беленькая.

Мийя положила дочку на место.

— Нет, она не такая светлая, как все в семействе Сулеймана. В ней течет ваша кровь, но звать ее будете Лондон.

Салима решила, что настало время ее дочери с внучкой переехать в родной дом в аль-Авафи, где им было положено провести сорок дней под ее присмотром. Она сказала зятю:

— Послушай, сынок, Абдулла! Жена твоя принесла первой девочку. Дочь — это благословение для матери. Она и помощница по дому, а потом еще братьев своих младших воспитывать будет. Нам нужно для роженицы только сорок живых куриц, бутыль настоящего горного меда, банку жира из-под деревенской коровы. А как

исполнится Лондон неделя, я сбрею ей волосы, ты купишь серебра по их весу, забьешь барашка на мясо и раздашь все это бедным.

Имя внучки она произнесла с такой торжественностью, что Абдулла переменился в лице, но не стал перечить, кивнул и отвез семью к теще домой.

Абдулла

Самолет рассекал густые облака. Абдулла не сомкнул глаз, несмотря на утомительно длинный перелет с пересадкой во Франкфурте.

Когда для рожениц в Омане открыли клинику «ас-Саада», швейных машинок марки «Баттерфляй» и в помине в стране не было. Как Мийя могла на ней шить? Да и электричество провели тогда еще не во все районы… Принимали же другие больницы в тот год, когда на свет появилась Лондон. По крайней мере, уже были заполнены палаты клиники «ар-Рахма» в Матрахе. И скорее всего, «ан-Нахды» в Руви тоже. Так зачем же Мийя настаивала на том, чтобы рожать при иностранной миссии?.. Не припомню… Не могу связать одно с другим… Мать ее велела зарезать в честь Лондон барана и принести два десятка кур, чтобы Мийя после родов пошла на поправку… Мать ее так нарочито подчеркнула, что двадцать, хотя я собирался принести все тридцать и барана тоже… Жена дяди из Вади Удей стояла посреди двора и укоряла меня: «Лондон?! И ты согласился? Тебе что, все равно? Ты что, ничего не решаешь?» Не

знаю, они сломали дом или продали его. После смерти дяди я видел ее лишь пару раз…

Когда Лондон закончила медицинский факультет университета Кабуса[1], заявила: «Пап, я хочу BMW!» А Мийя после переезда на новое место спрятала свою «Баттерфляй» в чулан.

Почему она перестала строчить? Когда именно это произошло? С рождением Мухаммеда, в тот самый год, когда я унаследовал бизнес отца и мы стали жить в Маскате. Как Мийя была довольна, щебетала, что боялась на всю жизнь остаться под опекой матери. А когда родился Мухаммед, она забросила шитье… Тогда еще запустили новое шоссе в южном направлении и построили завод… Посреди ночи раздался звонок. Ханан, подруга Лондон, учительница начальных классов в Саляле[2], сообщила, что банда подростков напала на общежитие для женщин и нескольких изнасиловали. Ханан тоже…

А какой пир закатила тогда Мийя по случаю новоселья! Переезда в столицу! Всех своих по-

---

[1] Сноски: 1

Кабус бен Саид — султан Омана с 1970 года до смерти в январе 2020 года, объединивший имамат Оман и султанат Маскат в единое государство.

[2] Сноски: 2

Саляля — второй по населению город Омана, административный центр южной провинции.

друг пригласила. Такую длиннющую скатерть расстелила. И уставила от края до края блюдами. Салем пошел в школу. А Мухаммед был пока еще как все младенцы… Мийя ликовала. Перед сном она надела рубашку темного оттенка. И когда все легли, я спросил у нее: «Мийя! Ты меня любишь?» Она зажмурилась. Помолчала, а потом прыснула… Смех был настолько громким, что от него становилось не по себе. «Заговорил, как в сериалах! Мужчина! Совсем разум потерял от этих египетских мыльных опер? Отключи тарелку эту!» Мухаммед взобрался ко мне на колени и что было силы потянул за бороду. Мийя шлепнула его, и он заревел. Я бороду не сбривал даже после того, как отец умер…

А когда для женщин открыли курсы по ликвидации безграмотности, Мийя сразу в шестой класс поступила, так как умела читать, писать и знала немного счет. Я говорил ей: «Мийя, Мухаммед мал еще. Как подрастет, тогда и иди учиться». Она настояла на том, чтобы изучать английский… Это до того, как мы установили тарелку. Получается, когда она нарядилась в темно-синюю рубашку и я спросил ее, любит ли она меня, никакой тарелки у нас не было и не мог я смотреть египетские сериалы…

Отец умирал в больнице «ан-Нахда». Я положил было ладонь ему на руку, но он резким движением сбросил ее. На похоронах я еле стоял на ногах. Мухаммеду исполнился год…

Как громко она хохотала в ответ на мой вопрос о любви! Казалось, стены нового дома должны были затрястись, а дети с испугу разбежаться. Мийя тоже не была поклонницей сериалов. Салем увлекся поначалу мексиканскими страстями, но они быстро ему надоели, и он перешел на видеоприставку. Каждый раз из Дубая он привозил по две-три кассеты. Мать Мийи не унималась: «Она моя дочь, Абдулла! Не забирай ее от меня в Маскяд. Такую портниху еще поискать надо. Язык у нее не длинный, как у других, и в еде неприхотлива».

Я взмолился: «Отец! Разреши мне поступить в университет в Египте или Ираке». Он же, схватив меня за бороду, завопил: «В Омане ты бородатым ходишь. Уехать хочешь, чтобы потом оттуда бритым вернуться, да еще курить-пить научиться?!» Сразу после окончания средней школы я занялся торговлей, а в столицу переехал только после его смерти…

Лондон росла хорошенькой пухленькой девочкой. После полудня Мийя всегда купала ее в

проточной воде, и та заливалась смехом. Я покупал ей травяной чай с анисом и детское питание «Хайнс». Ни у кого из детей в округе такого не было. Мийя тогда так гордилась.

Отец дразнил меня мальчишкой, а у меня у самого было уже трое детей на тот момент… Я подошел к нему ближе, когда он собрался снять дишдашу[3] и майку. Редкие седые волоски на его груди блеснули в тусклом солнечном свете, проникающем в комнату сквозь разрез тяжелых штор. Я сделал шаг к окну, он погрозил пальцем: «Не надо!», и я оставил шторы в покое. В одном из приступов забытья, которые участились в последние два года его жизни, он выпалил: «Сынок! Сынок! Хватайте Сангяра! В восточной части двора его привяжите! Накажу того, кто ему воды поднесет! Не сметь его в тень сажать!» Я присел перед ним на корточки: «Отец, правительство давно уже освободило рабов. Сангяр в Кувейт уехал».

Каждое лето Лондон клянчила поездку в Кувейт, но Мийя возражала: «Из огня да в полымя! Куда ехать? В такое же пекло?!»

Дочь Сангяра вышла замуж за оманца и вер-

---

[3] Сноски: 3

Дишдаша — широкая длиннополая мужская рубаха.

нулась в Маскат. Она узнала меня в коридоре больницы «ан-Нахда», где устроилась медсестрой. Улыбка исчезла с ее лица при виде моего умирающего отца. Его почерневшие губы задрожали, и он прокричал: «Вяжите Сангяра, чтобы неповадно было луковицы таскать!» Я ничего не ответил. Отец замахнулся своей тростью: «Сынок! Слышь, что говорю! Проучить его надо, отбить охоту воровать!»

Лондон нравилось плескаться. И однажды Мийя уговорила меня оставить ее на два часа в мутной после селя воде. Говорила, иначе может развиться рахит. Несколько дней я заснуть не мог, рассматривал ее маленькие ножки. Ничего необычного не было, она скакала, как маленькая газель.

Почерневшие губы отца дрожали, он хмурил брови и плевался: «Сынок! Ну ты привязал воришку Сангяра к столбу?» Я поймал его руку, чтобы поцеловать, но он оттолкнул меня. «Пап, правительство даровало рабам свободу… Правительство… Отец!» Поняв наконец смысл моих слов, он захрипел: «При чем тут правительство?! Сангяр мой раб. Мой! А не правительства! Нету у них права отпускать его! Я его мать Зарифу купил в свое время за двадцать серебряных монет, когда

мешок риса, которым я ее кормил, стоил всю сотню… Целую сотню… Монета к монете… Эх, Зарифа… Какая прелестница была… Нежная какая… Но она созрела, и Хабиб сорвал ее… И понесла она этого вора… Да при чем здесь правительство? Это мой раб, собственный… Как он уехал, не спросивши… Разве такое возможно, сын?!» Когда его снова начинало потряхивать, а шея и грудь у него покрывались потом, я снимал полотенце со вбитого в дверь гвоздя и стирал им капли. После смерти отца полотенце исчезло. Когда я вошел, спотыкаясь и захлебываясь от плача, в его комнату, меня самого прошиб пот, но полотенца я не нашел. Оно испарилось. Так же, как и швейная машинка «Баттерфляй». Я не заглядывал в чулан, но знал наверняка: Мийя спрятала ее там.

Обожаю, как Мийя готовит самбусы. Когда мы переехали в новый дом, она, помимо прочих блюд, напекла их целый противень. «Мийя, лучше, если служанка будет помогать тебе и на кухне», — проявил заботу я. Но она ничего не ответила, а через несколько месяцев без причины потребовала ее рассчитать… Ночью, почувствовав в комнате аромат благовоний и увидев на Мийе полупрозрачную рубашку, я спросил: «Ты меня любишь, Мийя?» Она прыснула. Хохотала

без остановки…

В классе меня дразнили долговязым. Зарифа, собирая меня, так сильно затягивала ворот дишдаши, что я едва не давился. Учитель спросил: «Сколько?» Я копил деньги, которые получал в праздники, изредка тратя свои сбережения на кокосы с холодным молоком внутри. «Полриала», — ответил я. Учитель засмеялся. Ненавижу смех. Когда люди смеются, они становятся похожими на обезьян — с дергающимися шеями, сотрясающимися животами, с обнаженными желтыми кривыми зубами. «Лет тебе сколько?» — «Десять или двенадцать». Учитель ухмыльнулся: «Ты не знаешь, сколько тебе лет? В любом случае для первого класса ты слишком рослый». А что я мог сделать? Ведь школу построили, когда я уже вырос. Другие ученики, на дишдашах у которых ворот не был так сильно перетянут, как у меня, загалдели: «Учитель Мамдух! Отсадите дылду Абдуллу! Что он уселся впереди за первой партой?!» Мамдух хлопнул меня по руке и шепнул: «Сладости с собой?» Я замотал головой. «Завтра принесешь!» — «Что?! Сладости? Ни тетрадь, ни карандаш… Сладости принести?!» — заголосила Зарифа. Хабиб бросил ее, а Сангяр сбежал в те дни из дома. Все свое время, когда не хлопотала у

плиты, она посвящала мне.

А Мийя всегда занята. Сначала шитье, потом дети пошли, затем эти курсы. И подружки отнимали много времени. А потом она стала просто спать…

Зарифа пахла супом, и я клал голову ей на грудь, чтобы заснуть. «Абдулла смог написать свое имя, поэтому переводится в третий класс», — объявил учитель Мамдух. Так с его легкой руки я оказался сразу на третьем году обучения с четырьмя другими товарищами, которые принесли сладости учителю либо смогли вывести мелом на черной доске свое имя.

Небо становилось ясным, облака рассеивались. Абдулла, сын торговца Сулеймана, смог все же немного вздремнуть в кресле на борту самолета. Прежде чем очнуться, он пробурчал сквозь сон: «Прошу тебя! Только не закрывай меня в колодце! Не оставляй меня!»

Лондон

С восходом солнца, когда все вокруг зажглось ослепительно-ярким светом, сердце Салимы затрепетало от радости: она стала бабушкой. Да, это был просто красный живой комочек, с чудным именем и совсем не унаследовавший ее красоты. Но это была ее внучка. И она испытывала за нее гордость. Салима подмела двор, полила его водой из шланга, вытрясла персидский ковер, который хранился до того времени свернутым в чулане. Теперь он был расстелен в холле. Она натерла до блеска фарфоровую посуду, ровными рядами выставленную в серванте, и положила на пол новую циновку для Мийи и ее новорожденной дочки. Неумеху Холю Салима даже не позвала помогать на кухне и сама с душой нажарила тонких лепешек, щедро смазав их жиром и горным медом. Салима проследила, чтобы Мийя съела все до последней крошки, и не отошла от нее, пока не убедилась, что дочь до дна выпила кружку кипяченого молока с пажитником. Она сварила кофе, бросив в него зерна кардамона, нарезала на тарелку фруктов, добавила туда же финики,

поставила на золоченый поднос два флакончика благовоний, стаканчик с шафраном, чашу для горящих углей и отнесла все это в зал, куда могли зайти с поздравлениями соседки. Салима приняла ванну со специальной смесью трав, — мыла она не использовала с тех пор, как последний раз побрилась, — надела самый лучший свой наряд и наконец уселась рядом с молчавшей дочерью.

Двор наполнился голосами: «Во имя Аллаха… Да будет воля Всевышнего… Да помолится за Пророка Аллах… Да ослепнет глаз завидущего… Такова воля Всевышнего… Первая дочка — главная помощница… Да наградит вас Господь после нее десятью сыновьями… Во имя Аллаха… Да помолится за Пророка Аллах». Салима растолкала Мийю:

— Да поднимись же ты, наконец, перед гостями. Вот Махбуба аш-Шаиб пришла.

Через холл, поминая имя Аллаха, прошла Зарифа. Наума попробовала ногой на ощупь ворс персидского ковра, затем откинула с тарелок и подноса полупрозрачное покрывало и пробежала взглядом по угощениям. Помешав серебряной ложечкой шафран в стаканчике и убедившись в густоте содержимого, женщина проследовала в комнату.

Насупившись, Салима пробурчала:

— Здравствуй, Зарифа. Не рано ли ты к нам? Можно было еще неделю потянуть… Прости, ноги болят, не могу встать.

Зарифа опустила свое грузное тело рядом с местом Мийи. Тяжело вздохнув, она сказала:

— Не утруждай себя, дорогуша. Когда ты вставала перед Зарифой? — Она покрутила толстый серебряный перстень на указательном пальце правой руки и откинулась на подушки. — Как самочувствие, Мийя? Ты заслужила, чтобы все прошло хорошо. Вам с малышкой здоровья. Извини, дочка, раньше не могла навестить. У сына моего Сангяра тоже прибавление, девочка.

— Поздравляем! Всех благ! — откликнулась Салима. — Мы, получается, пропустили такую новость.

Зарифа еще ближе наклонилась к Мийе.

— Вчера эта змея родила Сангяру девчушку. Хлопотали.

Салима нависла над дочерью с другой стороны.

— А сегодня что? Чем с утра занималась? Могла бы улучить минутку для того, чтобы прийти посмотреть на дочку господина. Поздний гость хуже горькой редьки!

Зарифа оторопела и прищурилась.

— Нет уж, дорогуша. Знай, что старый господин ел хлеб, исключительно моими руками испеченный! Гостя ноги несут, где ему рады, а частый гость — что в горле кость!

— Ей покормить надо! — перебила Салима.

Зарифа улыбнулась и передернула плечами, будто собираясь пуститься в пляс.

— Говорят, от рыбы молоко хорошо идет.

— Нет, для кормящей рыба вредна, — ответствовала Салима.

— Как говорится, что больной желает, то его и на ноги ставит, — заключила Зарифа, про себя подумав: «Да. К чему ей рыба соленая, когда Абдулла принес четыре десятка кур? Даже этой змее Сангяра и той он птиц достал. И мед, и жир ей, а она все нос воротит, не хочет моей стряпни. Народная мудрость гласит: «В сытости и ишак брыкаться станет». Что-то я не помню, чтобы у нее деньги даже на платья приличные были до того, как мой мальчик взял ее в жены. Эх, Сангяр, Сангяр… Всю жизнь тебе эта гадюка отравила».

— Приподнимись, дочка, покорми ребенка! — с одышкой проговорила Салима.

Мийя села ровно.

— А моя сноха-змеюка кормит лежа, что соба-

ка, — заохала Зарифа. — Не сядет даже… А дочку назвала Раша… И он, бедняга, язык-то прикусил. А как заикнуться? Она ж ужалит. Только скажи поперек. Нет чтобы назвать Хабиба, Марьям, Фатима! Сейчас такие имена дают! Марфат, Рабаб, Набаб, Шакяб, Дадаб — в ушах от них звон один. Вот жизнь пошла! А ты, Мийя, как девочку назвала?

Не сводя взгляда с ребенка, которого кормила, Мийя ответила:

— Лондон.

Зарифа онемела, потом, пыхтя, подняла свое тучное тело.

— Пойду-ка я вам обед лучше сготовлю.

Как только Зарифа удалилась на кухню, Салима с облегчением выдохнула. На секунду ей показалось, что цвет стен, выкрашенных голубой масляной краской, сгустился до иссиня-черного. Именно эту комнату она выбрала для своей только что родившей дочери — здесь было тепло, серванты с посудой и дорогими подносами вдоль стен, вместительный сундук, недавно перекрашенный и инкрустированный золотистыми пластинами, подушки, перетянутые шелком и заново туго набитые. Салима не только о собственном теле заботилась, но и была одержима

украшательством всего вокруг.

Стоило жене муэдзина постучаться и спросить разрешения войти, как Салима вскочила к ней навстречу. Из кухонного домика в углу двора выглянула Зарифа, промямлив:

— Чудо расчудесное! Исцелилась, запрыгала!

Пока Салима и жена муэдзина обменивались горячими рукопожатиями, она успела прокричать своим громогласным голосом:

— Желанному гостю — горячий привет, незваному — дома хозяина нет! — Ударив себя кулаками по бедрам, Зарифа скрылась на кухне.

Салима и ее гостья, приехавшая из Самаиль много лет назад, которую уже никто не называл иначе как женой муэдзина, пустились в бесконечные разговоры, нанизывая одну тему на другую. Мийя безучастно сидела рядом, разглядывая ребенка. К ним присоединилась Асмаа.

— Послушай, мама! Ты должна приготовить Мийе эту смесь из книги «Рецепты на каждый случай». Для этого потребуется…

— Не нуждаюсь я в этих книжках и докторах, которые будут меня еще учить, что собственной дочери готовить! — прервала ее Салима. — Пятерых на ноги поставила без чужих советов! Ты глаза себе чтением сломаешь. Кофе лучше

выпей.

Тогда Асмаа обратилась к Мийе:

— Давай, Мийя! Поешь! Современная медицина доказала пользу фиников для здоровья рожениц. И в Коране упоминается, как Дева Мария потрясла пальму, и с нее упал зрелый плод.

Она старалась говорить грамматически правильно, декларируя по памяти священные тексты, чтобы произвести впечатление на жену муэдзина. Но мать потянула ее за рукав:

— Оставь сестру! Она будет есть одна!

— Почему это?

— Потому что в ней скверна, — прошептала жена муэдзина. — С ней нельзя вместе садиться!

Асмаа возмущенно отвернулась. Она была уверена, что есть хадис о том, что нет запрета делить с женщиной пищу. Но в присутствии жены муэдзина она и слова не могла промолвить о религии.

Вошла Зарифа, чтобы разлить всем кофе. Она единственная из рабынь могла есть с хозяевами с одного подноса. Эту привилегию она даровала себе сама, и никто не возражал. Зарифа отправила в рот большой кусок сладостей и смачно облизала жирные пальцы.

— Ну-ну, Зарифа, давай аккуратней! — провор-

чала жена муэдзина. — Не забывай о диабете, ты же все-таки… не худышка.

— Диабет?! Думаешь, испугала меня? — закудахтала Зарифа. — Нас всех смерть ждет. Почто мучить себя? Я, хвала Аллаху, здорова так, что иных зависть берет. И докторов этих не слушаю. Диабет не диабет… Народная мудрость гласит: семи смертям не бывать, одной не миновать. — Она налила себе еще кофе и медленно выпила его, постукивая пальцами по стенке чашечки.

Жена муэдзина скривилась в улыбке.

— Да простит Аллах. Семи смертям не бывать, одной не миновать, говоришь? Да простит Аллах нашу беспечность. Тебе ведь уже пятьдесят стукнуло, дорогая?

Зарифа пожала плечами.

— Пятьдесят, и что? Что такое пятьдесят? Вторая молодость! У меня у сына только ребеночек родился. Некоторые бабушками становятся уже на четвертом десятке.

Салима, проглотив дольку апельсина, притворилась, что пропустила мимо ушей слова, которые предназначались ей. Она не стеснялась того, что стала бабушкой сразу после сорока, и всем своим видом показывала, что ей нет дела до мнения Зарифы. Жена муэдзина продолжала:

— Верно, Зарифа, ты не старая. Но тогда получается, ты поспешила женить сына, он еще слишком молод.

Зарифа привстала, отодвинув сладости в сторону, и посмотрела жене муэдзина прямо в глаза.

— Я ж ее пожалела. Я ж не знала, что она такая змея. Отец у нее умер, мать свихнулась. Как не пожалеть сироту? Она нам детей народит. А что надо было делать? Женить Сангяра или ждать, когда его мужики оприходуют?

Салима бросила в ее сторону тяжелый взгляд, а жена муэдзина вздохнула.

— Да простит тебя Аллах! Такое сказать!

Послышались громкие женские голоса. Гостьи спрашивали разрешения войти. Салима сделала Асмаа знак. Та нехотя поднялась: ей, как незамужней, не полагается слушать их разговоры. Досадней всего, что об этой традиции она действительно читала в книге «Жизненный опыт». «Ах, книги!» — подумала она и вернулась к своему любимому занятию.

Абдулла

Я часто летаю самолетом, но по-прежнему, как новичок, сажусь в кресло у иллюминатора, из которого наблюдаю, как города под нами сжимаются, становятся крохотными, пока не исчезнут из виду совсем. «Как ты много ездишь, пап!» — сказала мне Лондон. Я хотел рассказать ей тогда, что только в чужих дальних краях мы познаем себя настоящих, так же как в любви, но промолчал. О других странах она ничего не знает, но, думаю, любовь ей знакома.

Лондон так неистово сопротивлялась воле матери, что я, видя все это и переживая за нее, восстал, сломал занесенный над нею кнут и разрешил дочери выйти замуж по ее собственному выбору и желанию. Она бросила матери: «Откуда тебе знать о любви? Ты, как глаза распахнула, никого, кроме отца, и не видела. Сколько тебе было, когда тебя за него выдали?» Думала, меня нет дома, но я все слышал. Мийя рассмеялась. Рассмеялась с каким-то остервенением, но ничего не ответила. Не призналась, что любила меня.

Отец тогда лежал при смерти, а задыхался я,

как будто по трубкам, воткнутым в него, утекала и моя жизнь. Она что-то промямлила, я не понял. Проплакал у постели отца до зари. Мухаммеду был годик, и, сидя у умирающего отца, я беспрестанно думал о нем. Узнав о смерти деда, Лондон вскрикнула. Мийя пробурчала, что шум только тревожит душу покойного. А за несколько лет до этого она спросила меня: «Не слишком ли ты выслуживаешься перед своим отцом?» Я накинулся на нее.

Учитель Мамдух заявил нам: «Я воспитаю вас патриотами, в духе арабского братства». «Хочу BMW. Достойно врача и внучки бизнесмена Сулеймана», — продолжила Лондон. А какое отношение она имеет к заслугам деда? «Хочу новый плейстейшен», — услышал я от Салема. «Нужно женить мальчишку, пока ничего плохого не стряслось, а то как пойдет за ним дурная слава», — отметила Зарифа. «Поезжай в Маскат, я за всем в доме прослежу, не волнуйся!» — успокаивала меня тетка. «Верная сделка!» — уверял мой партнер Абу Салех.

«Что же вы с самого детства не занимались английским? — удивился преподаватель Билл. — Теперь вы осознали, что это самый важный язык в мире?» Самый важный язык! В мире! О, мир! Ка-

кой он огромный! И какой тесный в то же время!

«Надо избавляться от изживших себя приемов ведения дел! — настаивал Абу Салех. — Сегодня самое главное — реклама! Только она будоражит умы клиентов и растрясает их карманы!» Карманы. Карманы… «Отец! Мне нужен риал!» — попросил я. Он ухмыльнулся: «Целый риал! Для такого шалопая?! В мое время мы мечтали о том, чтобы на монетку просто взглянуть!»

Я вырезал ее имя на стволе пальмы. Выгравировал его раскаленным железом на воротах… Мийя… Мийя… Мийя… Самое красивое имя на свете! В этом тесном и в этом огромном мире!

Нет, спасибо. Не надо сока. Чай, пожалуйста! Да, ти. Мор ти плиис! В голове как гудит… Биржа обвалилась, Мийя визжала: «Значит, не видать нам дома в три этажа?!» А что можно сделать? Биржа рухнула. Все пропало. Мийя пала духом.

Хабиб сбежал. Зарифа сказала, что он не иначе как сбрендил, поэтому и пустился в бега. Он стал бредить, как мой отец, только старость задышала ему в затылок. Отец угрожал ей, обещал чего-то, а потом наложил на эту тему запрет. Меня поймала Зарифа. В тот день, когда отец решил ее выдать замуж за Хабиба. Она засунула мне в рот стручок острого перца и вывернула ухо: «Только

проболтайся кому, отец тебя свяжет и подвесит вниз головой на пальму». А мне и некому было рассказывать. Перец так жег язык, что пришлось выпить ведро воды. А вечером я не нашел ее груди, чтобы положить на нее голову.

Партнер настаивал: «Подпишем контракт!» А двоюродный брат советовал: «Вложи деньги в недвижимость! Это самое безопасное в нашей стране!» Наша страна! Наша страна! Все в ней меняется с дикой скоростью. «Я не люблю аль-Хувейр, пап! Здесь и прогуляться негде!» — ныла Лондон. «Не преувеличивай!» — ответил я. «Да здесь только машины паркуются. Людям и ходить негде». Затем она забыла об этом разговоре и увлеклась поездками с подружками на машинах в торговые центры. «А я люблю столицу! — сказал Салем. — Конечно, не Дубай, но есть все, что надо». Я не спросил его, а что именно надо-то. Мухаммед же практически не говорил. Им обоим я не радовался так сильно, как Лондон. Когда она родилась, казалось, что мне и мира мало. Так я был счастлив! Красивая! На Мийю похожа.

Зарифа зареклась входить в дом Салимы, чтобы разливать кофе гостям. «Но это же моя дочка, моя и моей жены Мийи. Салима тут ни при чем!» Она же причитала, что не выносит Салиму, что ноги

ее в их доме не будет. А когда родился Мухаммед, Мийя отказалась идти в дом матери. Сказала, что останется здесь, что здесь у нее есть прислуга.

На выпускном мне вручили аттестат. Вечером, раздуваясь от важности, я показал его отцу. Тот засмеялся: «На людях тоже так кряхтел, как собака? Эта картонка тебе не пригодится. А пригодится вот что». И он хлопнул кулаком по карману своей дишдаши. А потом залился хохотом. Я ни у кого не выяснял, от чего она умерла. Когда вырос, попробовал расспросить тетку по линии отца. «Ее убило растение, — ответила она. — Базилик». На столах в конференц-залах всегда цветы и травы, но не базилик. «Как так, тетя? Как базилик может убить?» Она отмахнулась от меня. Зарифа недолюбливала тетку. После кончины отца я переехал в Маскат, и она тут же отбыла вслед за Сангяром в Кувейт. «Зарифа? Как базилик мог погубить мою мать?» — «Почем мне знать?» — «Нет, Зарифа, ты знаешь все». Она улыбнулась, прижала меня к себе, и я втянул носом запах ее пота, смешанный с ароматом супа. «Зарифа всего на свете не ведает. Мое дело готовка. Ем, танцую и…» Она показала рукой неприличный жест. Как только у меня на лице пробилась щетина, я стал чаще замечать этот жест и у мужчин, и у женщин. Я выкрал у

отца винтовку, и мы с Сангяром и Мархуном отправились охотиться на сорок. «Ты не мужчина, если не достанешь винтовку!» — отрезал Сангяр. «Мы тебя вместо дичи на вертеле поджарим», — добавил Мархун. В пустыне они, скрутив меня, принуждали повторить: «Я, Абдулла, раб Сангяра и Мархуна», но я выдержал пытку. «Все расскажу Зарифе», — пригрозил я им, и они меня оставили в покое, однако жареными сороками лакомились без меня. Тогда я поклялся, что, как стану взрослым, съем их не меньше сотни. Однако позже охота на них попала под запрет.

Мийя не высаживала базилик. Розы, несколько сортов жасмина, лилии, всякую траву, деревья айвы и лимона. Участок был большой, так что она могла выбрать хороший кусок земли под садоводство, которым увлеклась, забросив шитье. Однажды я спросил ее: «Мийя! А почему ты перестала шить?» — «Какой смысл? Кругом столько портных. Да и надоело мне, честно говоря». Учеба ей тоже опостылела. Английским овладеть она уже и не надеялась. Она ушла из вечерней школы. Когда же я предложил ей отдать Мухаммеда в лицей «аль-Амаль» для детей с особыми потребностями, она расплакалась: «Мой сын как все. Он пойдет в ту же обычную школу, что и его братья,

что и дети моей сестры». Но Мухаммед был не таким, как все. Она просто не хотела этого видеть.

Мы не сажали базилик. Однажды тихим ясным вечером я спросил у нее, что она думает о том, чтобы рассадить базилик, и услышал в ответ, что на его запах приползают змеи. В ночь после охоты на сорок Зарифа перевязывала мне раны, посыпая их солью и куркумой. Я же вопрошал в бреду: «Как она умерла, Зарифа? Как погибла моя мать?» И Зарифа, все это время хранившая молчание, сказала: «Сынок! Абдулла! Недаром люди говорят: меньше знаешь — крепче спишь».

Когда у Холи появился собственный автомобиль, Мийя тоже захотела научиться водить. Но она провалила экзамен, обвинив инспекторов, очарованных, по ее словам, Холей, в предвзятости к ней самой. Я нанял ей водителя, она выгнала его через считаные месяцы. «Мийя!» — «Что?! Что?! Что?!» Когда Холя развелась и открыла салон красоты в одном из престижных районов Маската, Мийя попыталась сдать на права еще раз.

Я не прислушался к советам двоюродного брата и не вложил деньги в недвижимость. Купил акции, и биржа рухнула. Это была большая игра, но газеты молчали. Замолчала пресса и изнасилование Ханан и других учительниц на юге. Народ

безмолвствовал. Кто платил за это ужасающее молчание? Лондон чуть с ума не сошла, когда навестила подругу, помещенную в неврологическую клинику.

А я ходил тогда в больницу к отцу. Я смачивал его пересохшие губы, он прикрывал глаза, я плакал. Но на поминках при всех я не проронил ни слезы. С утра до захода солнца три дня подряд я оставался в белой наглаженной дишдаше, при кинжале, на голове мусар[4], я встречал соболезнующих, отвечая каждому: «Все в руках Всевышнего». Они ели мясо с рисом и расходились. А вечером я плотно закрывал дверь своей комнаты. Меня что-то жгло изнутри. Сильно жгло. В больнице, когда он впал в беспамятство, я стянул с головы мусар и показал ему шрам. Я обнажил плечо, где остались порезы и следы от тугих веревок из джута. «Ты помнишь тот день, с сороками?» — прошептал я. Он не шелохнулся. Руки, которые связывали меня тогда и опускали в колодец, пока я с глухим стуком ударялся о его каменные стены то головой, то торсом, не дрогнули. «Сангяр младше меня, — прошептал я ему в ухо. — Он задирал меня, чтобы я выкрал вин-

[4] Сноски: 4

Мусар — традиционный мужской головной убор, повязываемый наподобие чалмы.

товку. Я б вернул ее на место, но Мархун выдал меня». Отец не подавал знака, и я стал говорить громче: «Сангяр сбежал. Мархуна ты не тронул. Я же чуть не умер от страха, пока ты опускал меня в темноту колодца, связанного по рукам и ногам, с замиранием сердца ожидающего, что веревки порвутся». Он и пальцем не пошевелил. Его руки лежали, обмотанные проводами. Я схватил его ладонь и провел ею себе по лбу, с силой надавил ею на шрам и разразился рыданиями.

Асмаа

Асмаа с отдельного входа зашла в комнату девочек, куда, как только Мийя с сестрами подросли, их перевели, словно отрезав от дома. По настоянию матери, чтобы заглянувшие в гости родственники мужского пола случайно не встретились с девочками в холле, отец сделал со двора для них пристройку. Холя, как обычно, сидела у трюмо и вертела в руке что-то интересное. Асмаа присела рядом на корточки.

— Что это, Холя?

— Губная помада, — прошептала Холя в ответ.

Ахнув, Асмаа вырвала вещицу из ее рук, чтобы поближе рассмотреть. Ярко-красный карандаш, закрывающийся золотой пулей-крышечкой в форме птички.

— Откуда у тебя это?

— Мийю попросила купить в Маскате, еще до того, как ей родить.

Асмаа глаз не могла отвести от золотой птицы.

— Но мама…

— Она не узнает, если только ты… — Холя посмотрела на нее в упор.

Асмаа замотала головой — она не проговорится — и направилась к полке, где были расставлены книги, спасенные от влаги и плесени чулана. Она стала перебирать их и, наткнувшись на томик в голубой обложке, прочитала вслух заглавие: «Руководство имама аль-Рабии бен Хабиба». Она открыла потрепанную книжку — в глаза ей бросилась извилистая надпись, сделанная от руки: «Масуду бен Хамеду бен Мухаммеду в дар от верного друга и брата Али бен Салема бен Мухаммеда, который руку приложил». Асмаа был противен парадный шрифт. Память возвратила ее на несколько лет назад в день открытия школы в аль-Авафи. Девочек старше десяти лет туда не пустили, отправив на курсы ликвидации безграмотности, которые были запущены чуть позже. Асмаа узнала, что тех, кто смог правильно написать свое имя, перевели сразу на третий год обучения, невзирая на возраст. И теперь она не знала, как ей быть, ведь первый день она пропустила. Она приступила к занятиям, но до конца первого семестра курсы распустили, так как слушательниц набралось очень мало. Учительница вывела на черной доске мелом красивыми буквами: «Курсы закрываются из-за недобора». Асмаа вышла из здания, ненавидя с того дня этот

почерк.

— Вместо того чтобы подкрашивать глаза, ты их испортишь своим чтением! — заметила Холя.

— Замолчи, невежда! — грубо ответила ей Асмаа. — Ты после школы и книжки не открыла за все два года. Коран и тот в Рамадан читаешь из-под палки, мать заставляет.

Холя равнодушно пожала плечами и отвернулась опять к зеркалу. Асмаа перелистнула страницу, заулыбалась и процитировала вслух:

— «Абу Хурайра[5], да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда Пророк, да помолится за него Аллах и приветствует его, был в мечети, обратился к Айше: «Подай мне одежду!» — «Но я нечистая», — ответила она. «Это не в твоей власти», — сказал ей Пророк». Я так и думала, так и думала! — воскликнула Асмаа. — А жена муэдзина… — И она принялась твердить хадис, чтобы заучить и пересказать его матери и Мийе.

Асмаа представила себе, как вытянется лицо жены муэдзина, когда та увидит их в следующий раз всех вместе за трапезой. Хихикнув, она вернула книгу на место, где стояли еще «Рецепты на каждый случай» в простом бумажном переплете,

---

[5] Сноски: 5

Абу Хурайра — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда.

«Кладезь афоризмов» под красным бархатом, изданный в Каире в «аль-Махмудия», собрание сказаний об Антаре[6] в кожаной обложке с замечаниями на полях чьей-то рукой, желтая затертая книга рассказов о пророках, напечатанная в Калькутте, и другой том желтого цвета, на первой странице которого значилось: «Вторая часть изречений и сентенций достопочтенного имама аль-Вахида Шихаб ад-Дина Ахмеда, известного как Ибн Абд Раббу аль-Андалуси аль-Малики, да ниспошлет ему Аллах своей милости и откроет ему врата рая. Комментарии Абу Исхака Ибрахима бен Али, известного как аль-Хасри аль-Кайравани аль-Малики, да будет милостив к нему Всевышний». Иногда отец просил ее почитать ему отрывки из этой книги, и она ломала глаза из-за мелких букв, а также вынужденно проглатывала некоторые выражения, которые стыдно было произнести перед родителем.

На той же полке стояла небольшая книжечка с выдранными страницами — сказка о наложнице. По прошествии лет Асмаа будет помнить лишь две подробности об этой книге: торчащие обрывки бумаги и что горло наложницы сравнивали

[6] Сноски: 6

Антар — арабский поэт и герой VI века, из приключений которого появился рыцарский роман.

с горлышком серебряного кувшина. Были еще индийская «Калила и Димна»[7], грамматический анализ Абдуллы бен аль-Мукаффаа от 1927 года бейрутского издательства, размером с ладонь и не толще школьной тетради. Были также толстые журналы министерства культурного наследия, которые она не могла осилить до конца. Асмаа быстрым взглядом обвела брошюры на английском, приобретенные Мийей в Маскате еще до замужества. Читать их никто не мог, но Мийя с упорством их пересматривала.

Прежде чем отойти от полки с книгами, Асмаа по привычке переложила с места на место несколько оставшихся от неизвестной книги листов, которые она не выбросила, скрепила и хранила отдельно от испорченных экземпляров. Из них, до конца не понимая смысла, она помнила: «Мудрецы утверждают, что Аллах сотворил души округлыми, в форме шара, затем разорвал их надвое и каждую из половинок вложил в тело. И когда тела некогда оторванных друг от друга частей единой души встречаются, между ними вспыхивает страсть, характер которой зависит от природы разбитой души».

---

[7] Сноски: 7

«Калила и Димна» — сборник басен и притч, переложение известной индийской книги «Панчатантра».

Луна

Аззан, муж Салимы, возвращавшийся ночью из пустыни, испытывал сильнейший душевный подъем. Ощутив под ногами мягкость песка, он сбросил сандалии, чтобы в полной мере насладиться его прохладой. На небе светила полная луна, и он следовал привычным теням от барханов. Огни аль-Авафи были заметны еще издали, но он глядел на них так, словно это был незнакомый ему мир. Часть ночи Аззан провел в беседах с бедуинами. Они вспоминали старинные песни, много смеялись, одни играли на рабабе[8], другие на свирелях. Аззан, отказавшись от полноприводной машины друзей, решил добраться до аль-Авафи пешком. В действительности от жилищ бедуинов, скрытых за горбатыми барханами, до его дома было рукой подать. Но эти два пространства никоим образом не пересекались. В аль-Авафи люди издавна жили жизнью обычных земледельцев. Бедуины же, хотя и перестали кочевать и возвели себе бетонные дома вместо палаток из верблюжьей шерсти, в глубине души

---

[8] Сноски: 8
Рабаб — струнный музыкальный инструмент.

презирали оседлую жизнь. Они продолжали заниматься выпасом скота, гордо носили свои традиционные одеяния и дорожили свободой, хорошо зная, где проходит та граница, которая отделяет их от пресловутой «цивилизации».

С недавних пор зажатость Аззана в их обществе улетучилась, и он перестал терзаться угрызениями совести за то, что, проявляя беспечность, с головой окунался в мирские увеселения. Слова песен при воспоминании о покойных сыновьях застревали у него в горле, но он при этом будто избавлялся от бренности мира, убегая от его неискренности и фальши. Он не чувствовал, как раньше, за собой вины за проявления радости и удовольствие уже не принимал за мираж, на обман которого он якобы покупался. Вытягивая за певцами слова, он пытался ногами отбить тот же ритм, что гремел в голове. Перед глазами вставало лицо внучки. На середине пятого десятка он впервые стал дедом. В этот момент ему очень хотелось вернуться домой, распахнуть дверь в среднюю комнату и полюбоваться личиком спящей малышки.

Он расплывался в улыбке, бубня себе что-то под нос, как вдруг между барханов мелькнула тень человека. «Во имя Аллаха», — прошептал Аззан

и попятился. Однако тень уверенно свернула в его сторону.

— Кто здесь? — вскричал Аззан.

— Я! — ответил ему женский голос.

Через мгновение высокая женская фигура в черном одеянии стояла перед ним. Женщина сдернула плотное покрывало с лица.

Успокоившись, он спросил:

— Кто такая? Чего тебе надо?

Женщина впилась в него взглядом. Его смутили ее правильные черты лица и блеск распахнутых глаз. Оттого, что она встала настолько от него близко, что можно было вдохнуть запах ее тела, Аззан пришел в замешательство. А услышав ее слова, он и вовсе потерял над собой контроль.

— Я Наджия. Меня называют еще Луной. Я пришла за тобой.

Эти слова и много лет спустя будут звенеть у него в голове: «Я Наджия. Меня называют еще Луной. Я пришла за тобой». Аззан за свою жизнь познал немного женщин, а уж столь дерзкой, прозванной Луной, он точно не встречал. Она заслуживала куда более возвышенного имени. Такой красоты он не встречал и вряд ли когда-либо еще увидит. Она выросла перед ним из ниоткуда, в лунном свете, словно наваждение,

посланное Всевышним для испытания идущих по праведному пути, и опустилась перед ним на колени. Аззан нацепил сандалии и побежал что было мочи в сторону аль-Авафи, отбросив все мысли.

Наджия, вместо того чтобы сразу вернуться домой, зашла сначала за подругой. Остановившись у деревянных ворот, она прокричала:

— Хазина!.. Хазина!

Та вышла, прикрывая лицо черной накидкой:

— Все в порядке, Наджия?

— Давай переночуешь у меня!

И Хазина засеменила следом. При приближении к дому Наджия обратилась к ней:

— Брат ночует в пустыне, мы с тобой устроимся в доме.

Когда они присели друг напротив друга, Хазина спросила:

— Ну как, получилось?

— Сбежал, — спокойно ответила Наджия.

Хазина от хохота распласталась на полу.

— Господь Всемогущий! Да разве мужик сбежал бы?! От тебя, Луна?! Ха-ха-ха.

Но Наджие было не до шуток. Выждав, пока подруга придет в себя, она сказала:

— Я его хочу. И я его заполучу.

Хазина смахнула проступившую слезу краем одежды и подкинула веток в печку.

— Луна! Да видно, этот мужчина ни на что не годный.

Наджия устроилась поудобнее.

— Сам ко мне придет! Еще не было такого, чтобы я не заполучила того, кого захотела.

Хазина покачала головой.

— Сестрица, да ведь он женат на дочери шейха Масуда, старейшины всего их рода… Думаешь, он бросит ее, чтобы жениться на тебе?!

Наджия рассмеялась звонким смехом, который был только у нее. Хазина, увидев ее белые как жемчуг зубы, подумала: «Как подходит ей это прозвище… Люди скоро позабудут, как ее по-настоящему зовут». Наджия закинула руки за голову.

— А кто тебе сказал, что я замуж за него собралась? Я никому не позволю собой командовать. Я не для того создана, чтобы повиноваться мужчине да еще ему прислуживать. Чтоб он мою свободу ограничивал? С братом не даст общаться, с подружками не отпустит. То туда запретит ходить, то сюда, то скажет: вот это больше не носи. То к себе поманит, то оттолкнет. Нет, нет, нет, Хазина! Аззан будет моим, но я-то принадлежать

ему не буду. Будет приходить, когда я захочу, и прогоню, когда пожелаю… С тех пор как я увидела его в толпе, сразу поняла, что это мужчина для Луны. Что, сбежал?! Да, сбежал, пятки сверкали, будто с джинном на дороге столкнулся. Думаешь, он от меня откажется? Да не родился еще такой мужчина, Хазина, который бы Луну отверг. На коленях обратно приползет.

Подруги еще долго молча наблюдали за угасающими языками пламени, пока не уснули.

Наджия выросла в этом доме, напоминающем просторный бедуинский шатер, — две комнаты с выходом в зал, из него можно попасть во двор, стены не доходят до потолка. Отец транжирил деньги направо и налево. Мать свою она не помнила и никогда не задавала о ней вопросов. В этом мире она любила только младшего брата. Все шрамы на теле она получила еще в детстве, когда, не думая, кидалась на мальчишек, чтобы его защитить. После уроков в младшей школе она спешила домой узнать, не обидел ли кто его. Заправляла желтый школьный фартук в штаны и тут же лезла в драку. Только когда она перешла в средние классы, задиры перестали приставать к брату и обзывать идиотом. В этом возрасте она поняла, что живет не для того, чтобы с зари до

заката слушать пространные речи по грамматике, математике и другим наукам в сыром классе, набитом еще полусотней девиц. Она терпеть не могла белую пластиковую сменную обувь, которая за неделю носки чернела и приходила в негодность. Не по душе ей была и серая, лишенная украшений форма, и вечно болтающиеся плечики фартука. Говор учительниц — египтянок и суданок приводил ее в замешательство. Усидеть на одном месте она не могла. И в конце концов она бросила школу, перестав по утрам втискиваться в пикап с десятком таких же маленьких бедуинок и трястись в нем до школы битый час.

В то время как отец где-то выпивал, пропадал на пикниках или участвовал в культовых обрядах зара[9], она брала управление делами на себя. Пасла верблюдов и мелкий скот, удвоив поголовье за несколько лет, подкармливала верблюдиц отборными финиками, жиром и медом, улучшая породу, вывозила их на заезды, пока однажды одну из них не купил шейх из Абу-Даби за двадцать тысяч риалов. Она выправила верблюдице паспорт, в котором записала ее Газелькой,

[9] Сноски: 9
Зар — языческий религиозный культ в странах Восточной Африки.

и погрузила в транспорт, идущий на Абу-Даби. Заполучив деньги, она сменила шатер на дом из армированного цемента, накупила ковров и сундуков на рынке в Матрахе для обстановки, откровенно высмеивая тех соседей, которые настроили хором в два этажа с пятью ванными, но так и сидели целый день по привычке в тени пустынной акации. Она не сдалась перед болезнью своего брата-дауна и учила его заботиться о животных. А когда отец умер, она с облегчением выдохнула: теперь ничто не могло помешать ей распоряжаться своей свободой и деньгами, как она хочет. Когда женственность ее раскрылась в полной мере, только ленивый не восхищался ее красотой, сравнивая Наджию с луной. Она же только издевалась над теми, кто приходил к ней свататься, продолжая ухаживать за братом и сохраняя свои деньги при себе. Она решила, что если ей и встретится суженый, то она его узнает с первого взгляда и тотчас овладеет его сердцем.

Однако брата поразил рахит. Она заперла дом и несколько месяцев скиталась с ним по муниципальным больницам, оставив животных под присмотром подруг. Ее прогоняли из мужского отделения, но она стелила на полу плед и дремала тут же, в коридоре. И прямо, и намеками

врачи говорили ей, что он ущербен с рождения, что и с ногами теперь плохо и не стоит надеяться на выздоровление. Некоторые настраивали ее на то, что теперь остается только дождаться его конца, но она, затыкая уши, отходила от таких в сторону. Разочаровавшись в больничном лечении, она забрала его домой, уединилась с ним и долго пичкала его тем, что советовали знахари, а также поила сбором трав, который составила сама. С упорством втирала она в его ослабевшие ноги гвоздичный порошок с горячим оливковым маслом и в попытке поставить брата на ноги клала его тело на свою сильную спину и таскала волоком по залу из угла в угол. Она настаивала колоцинт с вонючими листьями и поила его этой горечью каждое утро. Утирая брату слюни рукавом, Наджия отводила беспомощный взгляд, чтобы не смотреть в его узкие, вытянутой формы, как у монголов, глаза. Она отворачивалась, если кто-то осуждал ее жалкие попытки вылечить брата, которому она посвятила свою жизнь. И в один прекрасный день Наджия широко распахнула двери дома и отдала бедным двух верблюдиц: брат ее шел своими ногами.

Абдулла

Что ты чувствуешь, стюардесса, вызывающе накрашенная, с вежливой улыбкой, застывшей на лице, живя между небом и землей? Я сам оказался подвешенным меж ними, стоило тебе возникнуть передо мной.

Я встретил ее на следующий после праздника жертвоприношения день. Отец собирался с поздравлениями к Салиме, как того требовал обычай родства. Я не пошел с ним, но понял, что он хотел от меня: чтобы я обратил внимание на Холю, младшую из сестер. Наутро он спохватился: «Сходи-ка к Аззану, я вчера у них свою трость позабыл, отставил ее в сторону, как стали руки пожимать». Я смекнул, что отец не мог просто так забыть трость, которую везде таскал с собой, будто с ней родился. Да и зачем посылать меня за вещью, когда есть прислуга? Но пререкаться я, как всегда, не стал. Отыскав дом Аззана, я постучался и спросил разрешения войти. Пересек широкий двор и очутился в зале. Мийя, похоже, даже не заметила моего появления. Она сидела в дальнем углу на деревянном стуле и вдевала

нитку в иголку швейной машинки, склонившись над ней всем телом. Такая бледненькая, тоненькая и загадочная! Мне была видна лишь часть ее лица: чуть вздернутый нос, выпирающие скулы. Му́ка, отразившаяся на нем, отозвалась уколом у меня внутри. Она то поднимала голову, то опускала, пытаясь продеть нитку, и почти уже легла на машинку. При дневном свете она казалась куда более изможденной, а на страдания, написанные на ее лице, было невыносимо смотреть. «Как отыщется трость, прикажу вам отнести», — сказала ее мать, вглядываясь в меня, прячущего глаза. Я тщетно соображал, что нужно отвечать в таком случае, но не находил нужных слов. Салима казалась мне властной женщиной. Ее называли «русалкой водяной мельницы». Светлокожая, склонная к полноте, круглое лицо, черты резкие, крупный нос и цепляющий взгляд. Мийя была на нее совсем не похожа. Я в последний раз обернулся взглянуть на нее и не поверил тому горю, которое от нее исходило. От фигуры расплывалось необыкновенное свечение, до этих пульсирующих кругов света можно было дотронуться — только протяни руку. Однако мать ее ясно давала понять, что я задерживаюсь, и мне пришлось спешно уйти.

Я покинул дом Аззана, не сознавая до конца, что сейчас там со мной произошло, и не догадываясь, какое будущее нас обоих ждет. С недавних пор я стал слышать странные намеки в свой адрес, что я якобы сторонюсь девушек. Но это было не так! Я никого нарочно не избегал. Просто не получал от них ни отзыва, ни участия. Ни подшучивания служанок, ни их ладони, гладящие меня, не дарили любви, да и я не пылал к ним страстью. Шанна вцепилась в меня за деревом лимона, что рос у нас на участке. Мне и четырнадцати не исполнилось. Без предисловий она прильнула ко мне. Меня затошнило, и я оттолкнул ее. Она упала, перепачкавшись в глине, и пообещала, что мне это дорого обойдется. Спустя несколько дней Зарифа сделала попытку соблазнить меня рабынями отца. Эти женщины действовали грубо и не пробудили во мне никакой нежности. Одни были напуганы, другие с алчностью ждали подарков. Я отверг их, еще больше замкнувшись в себе. Зарифа посчитала это странностью и, разглядев во мне возможную жертву стареющих извращенцев, принялась оберегать меня своими неуклюжими способами, которые еще больше ранили меня как уже созревшего мужчину. Когда я встретил Мийю, мне было девятнадцать и все эти

переживания остались позади. Я все же не могу понять, чем именно она меня приворожила.

От проницательной Зарифы ничего нельзя было утаить. Как-то ранним утром она увидела меня счастливым, но пребывающим в отчаянии. Я не находил места и, представляя перед собой бескровное лицо Мийи, бродил из комнаты в комнату и мерил шагами огромные, построенные один за другим в разное время залы нашего дома. В его стенах мне становилось тесно, будто я носил в себе что-то тяжелое и очень ценное, но от легкости бытия мог воспарить. Накануне ночью, убедившись, что отец лег, я пробрался в восточную часть нашего владения, чтобы насладиться чудесной игрой Сувейда. Каждый раз я спрашивал его: «Где же, Сувейд, ты раздобыл такой дивный инструмент?» Он смеялся в ответ: «Там же, откуда дети берутся, уважаемый. Бог послал!» Видимо, эта же высшая сила направила на меня свет, который рассеивал мрак вокруг. Нежный, но глубоко ранящий луч, называемый любовью. Его посылает Всевышний! Я вышел во двор прогуляться вдоль рядов лимонных деревьев и манго. Среди них рос один-единственный розовый куст. Мне захотелось напеть ту же мелодию, что исполнял вчера Сувейд, но я не смог взять правильные

ноты и остановился, чтобы вдохнуть ароматы роз и лимона. Вдруг мне почудился запах базилика, сорвав который поплатилась жизнью моя мать… Полюбила бы она Мийю? Или воскликнула бы, вторя отцу: «А я думала, это будет Холя!» — «Нет, отец, — ответил я. — Холя — младшая сестра. Мийя — старшая». Он с недовольством переспросил: «Старшая?! Эта смуглая, худосочная?! Ты Холю видел? У тебя глаза где были? Ты вообще в красоте что-то понимаешь? Да и потом, она же старше тебя. Помню, как отец ее Аззан приводил ее к нам в праздник, а мать твоя тебя еще под сердцем носила». «На год и восемь месяцев всего лишь, отец», — просипел я. Он замахнулся на меня тростью. Значит, она не была забыта в доме Аззана. Спустя несколько дней я написал ему письмо, которое после упоминания имен Аллаха начиналось со слов «Моему господину и дорогому родителю, щедрейшему и достойнейшему» и заканчивалось подписью: «Твой слуга и сын, надеющийся на твою милость, Абдулла». Что за строки были между, я уже не припомню. Мне помогала составлять письмо тетушка. Нет сомнений, что и Зарифа сыграла свою роль, поведав отцу о моей ничем не оправданной, по ее разумению, стеснительности, которая у нее вызвала

подозрения. Отец позвал меня и объявил, что посватает за меня Мийю, выплатит за нее калым в размере двух тысяч риалов и пристроит к дому новый зал с восточной стороны, к которому будут примыкать две комнаты и ванная. Это будет наше с молодой женой жилище.

На заре того дня я ступал босым по плитке во дворе, не зная еще, что большую часть его застроят и на этом месте обустроят мое семейное гнездо. Я прошел между деревьев и свернул в узкий проход, ведущий в западную часть двора, которая была засыпана песком вместо камня и поэтому казалась меньше восточной. Во всем аль-Авафи не было другого такого дома с двумя дворами, поэтому соседи называли его «Большой дом». Большой дом, в котором жили только мы с отцом. Изредка нас навещала его сестра. Одни из многочисленных покоев занимали Зарифа с Сангяром и Хабибом, пока последний не сбежал. А в отдельно стоящих постройках ютились Сувейд, его брат Заатар, Зейд, который впоследствии утонул в сошедшем с гор грязевом потоке, его жена Масуда и дочка Шанна, Хафиза с матерью Саадой и тремя девочками, которых она родила неизвестно от кого. Все они принадлежали отцу по праву наследования. Дом наш никогда не пустовал.

Здесь всегда было полно людей, приезжавших из разных мест целыми семьями. Поэтому привычной картиной для меня были огромные бурлящие котлы и дрова, сваленные в кучу у входа в кухонный домик с восточной стороны. В небольшой кухне внутри дома Зарифа и Хафиза готовили нечасто. На пирах, проходивших у нас, столько гостей надо было накормить, что такое количество посудин там просто не помещалось. В западном же дворе разделывались и подвешивались туши животных, забитых Сувейдом и Заатаром. Их готовили тут же на открытом огне. Зарифа всегда говорила, что мясо, прожаренное в пламени, не идет ни в какое сравнение с мясом, снятым с газовой плиты… Да, в то утро меня переполняли чувства, и я испытывал такую легкость, что не находил ничего неприглядного даже в засохших остатках пищи, налипших на стены кухонного домика. Все мне казалось прекрасным: песок, немытая посуда, треск выпекавшихся лепешек. Я вошел в домик, он был без дверей, потому что так легче было носить туда-сюда широкие противни, и застал Зарифу, рассевшуюся на двух банках из-под молока «Нидо». Она нависла над раскаленной переносной плиткой, на которой тесто моментально превращалось в хрустящий

хлеб, и только успевала ловким движением снимать с нее лепешки. Не поднимая головы, она проговорила: «Доброго утра, сынок, Абдулла!.. Я смотрю, ты совсем взрослый стал». Зарифе все известно! Я оцепенел. Неужели она заметила имя Мийи на стволе дерева или заглядывала в мои тетради? Но она же неграмотная! Как она узнала? «Сынок, недаром говорят, от солнца рукой не закроешься!» — рассмеялась она.

Я женился, твоя фальшивая улыбка вызывает у меня лишь жалость. Слышишь, стюардесса-краса в безупречном костюме? Мне противны улыбки напоказ так же, как смех. Мийя не улыбалась. Даже в день нашей свадьбы.

Материнство

Только ближе к утру малышка перестала ныть, и Мийя прилегла на кровать, уткнувшись головой в стену. Ярко-синий насыщенный цвет краски был настолько неприятен для глаз, что она зажмурилась и тут же вспомнила родильное отделение больницы «ас-Саада», соль с оливковым маслом, которой смазали пупок новорожденной, жену дяди Абдуллы из Вади Удей, бесконечную вереницу женщин, приходивших с поздравлениями с раннего утра до позднего вечера, свежий куриный бульон, брызги слюны изо рта Зарифы, дующей в лицо ребенка и бормочущей молитву, ее большой серебряный перстень, кипенно-белые пеленки, красный язычок девочки, ее острые ноготки, которые до поры до времени не разрешалось состригать, чтобы она не стала воровкой… Мийя открыла глаза и посмотрела на дочку. Такое щуплое тельце и такой пронзительный голос! Она провела ладонью по черному пушку на ее голове и удивилась: «Неужели это и есть материнство?» Асмаа каждый день ее спрашивала: «Ну как тебе роль матери? Что ощущаешь?

Ничего важнее в жизни быть не может!» Мийя молчала. Она не чувствовала ничего, кроме утомления, ломоты в пояснице, боли в животе и настоятельного желания принять ванну. Голова чесалась так, что терпеть было невозможно. Мать позволила ей отойти в ванную ненадолго, однако запретила мочить волосы, так как в холод легко было подхватить простуду, которая может оказаться смертельной опасностью для роженицы. И Асмаа еще задает вопросы о радостях материнства и восхищается, какие груднички миленькие! Это период без сна, период борьбы с новорожденным ради того, чтобы он же не умер с голоду, это прострелы в спине от долгого сидения. Мийя ничего не отвечала, пропуская болтовню сестры мимо ушей. Она считала, что молчание — самое великое, что способен содеять человек. Когда молчишь, лучше слышишь собеседника, а если он надоест, мысленно прислушивайся к самому себе. Она сжимала губы, чтобы перестать мучиться. Порой ей нечего было заявить, порой она ясно сознавала, что не хочет рассказывать о том, что у нее на уме. Жена муэдзина одобряла ее неразговорчивость: «Кротость твоя зачтется в Судный день». Когда же дочка подрастет и родятся Салем и Мухаммед, она обнаружит у себя

иную склонность — ко сну. Она будет пребывать в забвении часами, ведь только в этом состоянии ее ничто не будет тревожить. Сон станет для нее еще большим чудом и даром, чем молчание, в нем она даже не слышит говорящих. Все молчат вместе с ней. Ее даже сновидения не посещали. По ту сторону яви обязанности снимались с ее плеч. Задремав, она переставала что-либо чувствовать и избавлялась от навязчивости реального мира: от однообразных жестов Мухаммеда, предсмертных криков и победоносных воплей из коробки телевизора, белой накидки Лондон, которой та скрывала свою устрашающую худобу, барабанящие по грязной посуде капли воды из крана на кухне, взмахи рук служанки-индонезийки, взгляды, которые украдкой бросал на нее шофер в зеркало заднего вида, бесконечные шушуканья Абдуллы с Лондон, его перебранки с Салемом. Во сне она проваливалась в пропасть сладостного небытия, манящего ее в никуда. Самым прекрасным для нее было то, что в этом состоянии она не видела снов. Ни кошмаров, ни теней, ни голосов, ничего. Ничему не надо было противостоять в этом блаженном беспамятстве. Ее единственное прибежище, ее райский сад. Ее единственное оружие против нарастающего беспокойства.

На рассвете прозвучал голос муэдзина, призывающего на утреннюю молитву. Она вздохнула: вновь можно насладиться тишиной. Жизнь, подумала Мийя, подобно тому, как сутки делятся на день и ночь, распадается на две половины — видимую и переживаемую внутри.

Ей удалось немного подремать, пока скрип открывающейся двери не разбудил ее — отец вернулся из мечети.

— Аллах Всемогущий! Мийя! Как же все-таки девочка на тебя похожа!

Мийя улыбнулась, заметив капельку воды, застывшую у него на лбу после омовения, и подумала о том, что почти все время он вынужден скитаться, пока на положенные сорок дней дом заполнили женщины. Видно было, как он радуется девочке, отмечая, что пушком на головке и малым весом она напоминает ему Ахмеда. Утренний свет постепенно наполнял комнату, пока Мийя с отцом разговаривали, любуясь малышкой. Пропел петух, и зашелестели листья крушины, росшей за окном. Аззан вернул внучку в кроватку.

— Клянусь Аллахом, Мийя, вылитый Ахмед! Он тоже родился таким маленьким, чуть больше ладони. Мы думали, не выживет. Но он выжил.

А когда мы на него нарадоваться не могли, он нас покинул.

Мийя все хорошо помнила. Ей было десять, а Ахмеду на два года меньше. Он седлал коня и отправлялся на ферму. Волосы его развевались на ветру, а на шее болталось серебряное украшение. Они оба сбегали с урока по чтению Корана, но она взобраться на коня не смогла, иначе порвала бы галабею. Подвернуть ее до пояса, как Ахмед свою дишдашу, или вовсе сбросить ее, как он иногда делал, она тоже не могла. На ферме они срывали неспелые плоды манго с деревьев, принадлежавших торговцу Сулейману, и подбирали с земли зеленые финики. Он умер. Внезапно. Погиб. Мийя помнила траурные дни, слезы и украшение из серебра. Мать сохранила его вместе с одеждой брата. О коне же никто не подумал. Его просто бросили умирать на виду под забором…

Как только отец вышел, ребенок снова расплакался, и Мийя взяла его покачать на руки. Правда, она на нее похожа? Через двадцать три года, когда Мийя разобьет ее мобильный телефон и накинется на дочь с кулаками, уже ничего общего она между ними находить не будет, кроме смуглой кожи да худобы. Лондон вырастет высокой, красивой и не в меру болтливой. В эту самую

комнату переедет дед, которому пойдет седьмой десяток, синюю масляную краску со стен сведут и заменят на краску пастельного тона на водной основе. Вдоль стен вместо сундуков с золотистыми украшениями поставят современные шкафы, уберут матрасы, чтобы внести диван, обитый плюшем, а по стыку стен и потолка наклеят гипсовый декор. Лондон же, боясь гнева бабушки, не войдет не то что в эту комнату — не переступит порога дома. Бабушка, которая перенесет к себе в покои все сундуки и подушки и разложит их рядом со своей новой деревянной кроватью, поклянется, что убьет внучку, если та выйдет за сына аль-Бейдара.

Абдулла

Вокруг сплошные облака. Мне нравится высота и ощущение невесомости. Прилипнув к иллюминатору, я вспомнил, каково было мое удивление, когда в школе мне сказали, что мой вес они не выдержат. У учителя случился приступ смеха: «А что ж дальше? Тебе еще расти и расти! Что, взлетишь и усядешься на облако? Вот дурак! Это ж как пар! Газ! Воздух! Понимаешь?!»

Через месяц после выпуска Лондон призналась: «Пап, я обожаю облака! Еще девчонкой я представляла: у меня вырастут крылья, как в мультике, я взмою высоко-высоко и буду прыгать по облакам». Я не сказал ей, что мечтал в детстве о том же. Мы ехали тогда в ее новой машине. Она вела и болтала без умолку. Потом она неожиданно предложила: «А поедем-ка на набережную ас-Сиба?» Там она замолкла.

Новое шоссе вдоль моря, почти четыре километра аккуратного тротуара для прогулок с игровыми площадками, предусмотрены парковки, фонарные столбы, напоминающие дубайскую Бурдж-аль-Араб в миниатюре. До того как побе-

режье было обустроено, я заезжал сюда с отцом, он пытался заключить с рыбаками договор и выкупить у них дома с выходом к морю, чтобы возвести на их месте торговый центр. Он был уверен, что центр нужен, что магазинов «Сабко», «аль-Уки центр» и даже супермаркета «аль-Харти», открытого недавно, недостаточно для жителей этого района. Я возражал ему: «Отец, покупательная способность здесь низкая, мы же не в Дубае». — «Ты ничего не смыслишь в бизнесе, вот уговорим этих рыболовов, и ты увидишь, что выйдет». Однако пришлось все бросить, когда вышло распоряжение министерства жилищной политики о запрете строительства торговых центров на побережье. Мы молча ехали в его белом «Мерседесе». Вел я. Разговаривали мы, только если он хотел что-то сказать о бизнесе и упущенных возможностях. Через неделю после его смерти я подал документы в Бейрутский университет. Я уехал, чтобы сдать экзамены и получить диплом бакалавра по специальности «менеджмент». Меня не волнует, отец, что ты не увидел моего диплома. Ты и не хотел его никогда видеть. Чего ты хотел от меня? Ты говорил мне: «Ты единственный мой сын. Хочу, чтобы ты стал мужиком. Настоящим мужиком». Десять лет по-

сле женитьбы я мотался туда-сюда из аль-Авафи в Маскат и обратно. Ты запрещал нам перебраться в столицу. Кто же тогда останется в Большом доме? Кому гостей принимать? Кто будет каждый вечер людей собирать у себя? Нет, нет и нет! Заканчивай дела в Маскате и через пару дней обратно. В аль-Авафи наш дом, не в Маскате. Десятью годами позже я услышал от Салема: «Наш дом в Маскате, сдался нам аль-Авафи! Почему на выходные и праздники мы уезжаем?» Лондон возмущалась тому, что дороги строятся для машин, а не для людей. Теперь она довольна тротуарами в ас-Сибе. «Угадай, чего нет в Маскате, но есть в аль-Авафи? — спросила она Салема. — Кладбища! Жителей Маската не хоронят в столице, их тела возвращаются в родные места».

В тот вечер, припарковав машину на набережной ас-Сиба, Лондон выключила фары и разрыдалась. С тех пор как она стала девушкой, я не видел ее плачущей. Последний раз был, когда мать набросилась на нее и разбила ее мобильный.

— Доченька! Что с тобой? Что случилось? Это из-за Ханан? Ничего, с ней все будет хорошо.

— Это не из-за Ханан… Ее родня, боясь позора, отказалась идти в суд. Они не будут судиться

из-за изнасилования. Ханан сдалась. — Она подвернула вышитые полы своей абаи[10] и легла на руль. — Мы с Ахмедом приезжали сюда. Он приказывал, чтобы я сидела смирно, не выходила из машины, не опускала стекло и не пялилась по сторонам, здесь парни прогуливаются в шортах. Я отвечала ему: «Ахмед, любимый, я никого не замечаю, кроме тебя». А он издевался: «Ты что, слепая?!»

Я пришел в ярость, не в силах справиться с подступившим гневом. Не мог успокоиться, мои эмоции не находили выхода. Я смотрел на ее лицо, когда она рассказывала, и у меня перехватывало дыхание. Никогда я не был настолько растерянным, когда дочь, плача, делилась со мной. «Я повиновалась ему, потому что боялась прослыть неудачницей». Таким беспомощным я выглядел, когда медсестра сняла с тела отца трубки и отключила провода, объявив о его смерти. Тогда от злобы я кричал без голоса и рыдал без слез. Гнев парализует меня, я начинаю задыхаться от невозможности что-либо предпринять. Подобных чувств я не испытывал, даже когда узнал, что Зарифа давно уже умерла. В тот мо-

[10] Сноски: 10

Абая — обычно черное традиционное платье для женщин, надеваемое поверх обычного платья для появления в общественных местах.

мент земля ушла из-под ног, и я вновь ощутил себя маленьким мальчиком, которого Сангяр и Мархун подначили выкрасть винтовку, а затем не дали поужинать сороками. Я был уверен, что отец наказал бы меня за то, что я сидел сложа руки, а она умирала далеко от всех в одиночестве, он еще раз спустил бы меня на веревке в колодец. Мне вновь послышался ее громогласный смех на рассвете, затем шепот: «Твоя мать не умерла, Абдулла… Она жива… Дух базилика забрал ее, но она среди нас». Я открыл все двери в машине и прислушался к шуму моря, будто он мог заглушить стенания дочери.

— Почему не рассказала раньше? — спросил я ее. — Чего ждала целый год?

Всхлипы мешали ей ответить.

— Я не могла… Я сама его выбрала… Вы все были против… Но я уперлась… Ничего не хотела видеть. Поначалу была на седьмом небе от счастья, закрывала на все глаза… Но как теперь признать перед матерью, что я была не права? Что сейчас я могу вам сказать?

— Ты ждала, пока он побьет тебя, и только потом собиралась заговорить?

Она застонала еще сильнее. Я вспомнил, как кричала ее мать: «Он бьет ее? Она сказала, что

он ее ударил? Этот аль-Бейдар дотронулся до моей дочери?! Мужчина поднял руку?! Во всем аль-Авафи не было такого случая, чтобы кто-то ударил женщину. Только пьяница Фарих: придет домой, проблюется, а потом жену колотит. И этот, образованный, ничем не лучше! Аль-Бейдар ударил мою дочь? Мою мать никто пальцем не тронул, ни сестер, ни меня никто не коснулся, и тут эта собака посмела мою дочь ударить? Как в глаза родственникам смотреть? Мы опозорены перед людьми! Что пьяница Фарих, что наш зять — один черт! Аллахом клянусь, он ее в жизни не увидит! Пусть сегодня же расходятся!» Он согласился, мы вернули ему калым, и Лондон стала свободной. Я сказал ей:

— С сегодняшнего дня ты свободна, Лондон. Ты врач, ты уважаемый человек. Его и вспоминать не стоит. Это был просто неудачный опыт.

Она вдохнула морской воздух и вытерла слезу, катившуюся по щеке.

— Ты прав, папа… Лишь неудачный опыт.

С набережной послышался смех подростков, они открывали банки с колой. Ветерок стал еще прохладнее. Обратно в аль-Хувейр машину вел я, повторяя про себя: «Слава Аллаху, что до свадьбы дело не дошло и все закончилось на помолвке.

Слава Аллаху!»

Зарифа

На большом подносе Зарифа расставила блюда, приготовленные специально для кормящей Мийи: тарелку риса, курицу в топленом масле с гвоздикой, тонкие лепешки, смазанные медом, дольки яблок и апельсинов, бананы, вазочку со сладостями. Накрыв все это крышкой, Зарифа водрузила поднос на голову, вышла из дома Салимы, перешагнула через канал, по которому бежала вода, подгоняемая мельницей, и проследовала мимо крепости шейха Саида, школы и магазинов Хамдана в направлении делянок с зелеными насаждениями, где в жаркое время жители аль-Авафи, и стар и млад, проводили целые дни, возвращаясь в свои дома только под вечер, когда жара сменялась прохладным дуновением. Сейчас же, в начале восьмидесятых, нужда в таком массовом ежедневном исходе из аль-Авафи отпала. От необходимости выходить на поиски прохлады жителей избавили вентиляторы, а некоторые уже успели обзавестись кондиционерами — «бесовскими изысками», как называла их Зарифа.

Придерживая поднос рукой, чтобы он не давил всей тяжестью на голову, Зарифа миновала делянки и вышла к краю пустыни. Она на минуту остановилась, чтобы отдышаться. У огромного белого камня, местоположение которого Зарифа хорошо знала, она опустила поднос на землю и присела на колени. Вытерев полой пот, она позвала своим гулким голосом: «Бакиа! Дух Бакиа! Тебе угощение, а нам оставь пищу нашу. У вас одна доля, у нас другая. Вот вам со стола роженицы Мийи, дочери Салимы. Обходите нас стороной! Не трогайте ее, не губите ребенка!» Зарифа поднялась на ноги и проделала тот же путь до аль-Авафи. Сюда же она приходила два дня назад, чтобы увести беду от жены своего сына и новорожденной внучки. Наведывалась она к камню и раньше, и каждый раз ее мольбы были услышаны. Ни при Зарифе, ни при ее матери, тоже приносившей дары женскому джинну, Бакиа не проявляла гнева. «Если не считать того случая, когда на мать Абдуллы навели порчу», — вздохнула Зарифа. Она-то хорошо знала характер Бакиа, охотившейся за каждой роженицей, которая не прикормит ее, ведь свои знания Зарифа получила от матери, а та от своей матери, ее бабки. «Бедняжка! Помилуй ее душу! Никому

вреда не сделала за свою жизнь, жила, что птаха Божья, да люди жестоки. Дала жизнь Абдулле, а из него ничего толкового не вышло. Разве мужик позволит жене так назвать ребенка? Да что говорить! Сказано: порицателя и проклянут! Да и у моего сына в семье кто ребенку имя давал? Мужики совсем бесхарактерные стали. Таких, как Сулейман, теперь днем с огнем не сыщешь. Клянусь Аллахом! Перевелись мужчины, как торговец Сулейман, как шейх Саид… Мать моя, да помилует Аллах твою душу! Если б ты видела, что сей день творится!»

Мать Зарифы за глаза называли «бамбучиной» за стройность и высокий рост, а настоящее ее имя было Паучиха. Отец ее, исстрадавшись от бесконечного выбора имен для каждого из своих многочисленных детей, которое не должно было совпадать с именами шейхов и даже господскими именами, не придумал ничего лучше, чем прозвать дочку Паучихой. Так и прижилось.

Еще не достигнув пятнадцати лет, Паучиха стала притчей во языцех и живым назиданием всем и каждой, рабыне или хозяйской дочке, если кто из них вздумает отвергнуть мужа. Шейх Саид посадил ее под замок в клетке в крепости за то, что она отказалась ложиться в постель с его

рабом Насибом, за которого он ее выдал. Паучиха просидела в клетке несколько месяцев. Днем ей приносили еду, а ночью к ней наведывался муж. Когда народ стал возмущаться ее ежедневными воплями, а Насиб заявил, что он уже не в силах каждый вечер привязывать ее за руки и за ноги к ржавой кровати и затыкать рот своим мусаром, чтобы добиться исполнения супружеского долга, Паучиху освободили. Она вышла из заключения беременной своей единственной дочерью. Когда она родила ее сама и самостоятельно смогла перевязать пуповину, решила, что станет повитухой не хуже, чем Марея, и будет принимать на руки господских наследников.

Люди в аль-Авафи и не догадывались, что за ее суровым взглядом на черном лице скрыта огромная жажда жизни. Не знали они и о том, что эта скупая на слова женщина на самом деле исполняет роль «большой мамы» в обрядах зара, которые совершаются каждый месяц в пустыне за пределами аль-Авафи, вдали от делянок.

Абдулла

Благодарю тебя, стюардесса-красотка! Апельсиновый кейк был чудесный, хотя из всего сладкого, свитс, как говорит Лондон, нет на свете для меня ничего вкуснее, чем традиционные оманские угощения. Когда в большом доме отца собирались гости и подавались сладости, я заворачивал щедрый их кусок в страничку из школьной тетради и относил учителю Мамдуху. Попробовать их самому удавалось не всегда. Сперва сладости разбирали старшие, а такой мелочи, как я, надлежало скрывать даже желание полакомиться, тянуть руку впереди взрослых тем более запрещалось. Частенько, когда очередь доходила до меня, поднос уносили, и я терял всякую надежду на десерт. Сестра отца запирала остатки в шкафу, а попросить ее открыть дверцу я не смел. Однако Зарифа, помня об учителе Мамдухе, прятала ради меня кусок, чтобы в конце года я принес аттестат изумрудно-зеленого цвета, бумажку, в которой она не понимала ни слова, но на которую не могла налюбоваться.

Порой мне везло и оба куска доставались мне.

Тогда я откладывал один из них для учителя, а второй делил с Манином, который мог учуять шафрановый аромат, куда его ни спрячь. Манин устраивался на громадном валуне у своего глиняного жилища, стоявшего на пути в школу, и ни одна живая душа не проходила мимо него, чтобы он не окликнул: «Подайте на пропитание бедняге Манину! Отрежьте и ему сладкий шматочек!» Я переходил из класса в класс, а Манин сидел на том же камне, будто у него родился, и в той же ветхой одежонке. Стоило ему открыть для себя напиток «Вимто» с клубничным сиропом, как он стал добавлять к привычным завываниям: «Подайте на пропитание бедняге Манину! Отрежьте и ему сладкий шматочек! И «Вимто» на запивку!» Его сын Зайед был моим одноклассником, но я, как ни странно, никогда не видел отца и сына вместе. Если Зайед был не на уроках, то играл с ребятами в квартале. Люди говорили, что его мать сбежала с другим мужчиной, когда он был еще младенцем. И пока он не вырос достаточно, чтобы позаботиться о себе, за ним присматривали добросердечные соседки. Я не замечал, чтобы Зайед веселился напропалую, как другие мальчишки, но при этом он всегда выигрывал у них в забеге наперегонки, который мы устраивали от

первой мельницы до границы делянок.

Завидев меня на дороге, Манин затягивал свою привычную песню, а потом спрашивал: «Эй, Абдулла! Как отец? Что сегодня припас для Манина?» И если я шел ни с чем, он придирался ко мне: «Уж известно, что министерство доплачивает тебе по тридцать риалов!» — и я прибавлял шагу, торопясь в школу. Но когда при мне был большой кусок сладкого, я присаживался на валун рядом с ним, и мы угощались вместе. Он смеялся, пережевывая, и, утирая слюни, заводил один и тот же рассказ уже в тысячный раз: «Эх, Абдулла. Малец ты еще!.. М-да!.. А отец твой щедрый человек!.. В тот год случилось так, что дождь лил не переставая аж десять дней. Мой домишко совсем снесло. Да и у других крыши если не обвалились под тяжестью воды, протекали только так… Мы с голоду помирали, малец. Все финики попортились от влаги. Постель, одежда — все хоть выжимай. Еду трудно было найти даже за большие деньги… Ты вот, Абдулла, родился в хорошее время, сытное, доброе. Голода не видал… А тогда весь аль-Авафи превратился в утопленный овраг. Шейх Саид укрылся в своей крепости, заявив, что у него ничего нет, что все его запасы фиников утонули… Но твой отец, сердечный

человек, распахнул ворота и расставил во дворе палатки для людей, кормил и поил их, пока они своими глазами не увидели, что и в подвалах, и на кухне все доедено до крошки. Кабы не твой родитель и шейх Масуд, сгинуть нам всем миром. Такой вот был год, наводнение, малец… А сегодня мы с тобой сладкое уплетаем… Такова жизнь… Послушай, Абдулла, что скажу. «Вимто» у тебя с собой нету?»

Мы росли, а Зайед все продолжал дергать девчонок, которые играли с нами в прятки, за косички. Он все так же лихо валил Сангяра в драке с ног, пока не ушел в армию. Вскоре глиняную развалину, в которой жил Манин, убрали с дороги и на ее месте возвели дом из бетона с тремя спальнями, гостиной и ванной. Шептались, что Зайед стремительно взлетел по карьерной лестнице и получал хорошее довольствие. В аль-Авафи впервые после долгого отсутствия он вернулся на красной «Камри» и сразу принялся расстраивать дом и запасаться мешками риса, сахара и сладостями из Барки, уже покрывшимися корочкой. Он всегда заезжал в военной форме, привозя с собой ящики фруктов, упаковки «Вимто» и рабочих, чтобы переделать очередную комнату или заменить простую деревянную дверь на другую,

с затейливой фрезеровкой. Однако Манин, практически ослепший и полностью поседевший, так и сидел на белом камне в поношенном тряпье и выпрашивал у проходивших мимо угощение. Соседи слышали, как сын-офицер отчитывал отца. Манин отзывался, что не видит уже ничего и что незачем ему сидеть взаперти в четырех стенах, пусть и в новом доме, он привык к свежему воздуху и живым людям. Он кричал, что пристает к прохожим, чтобы пообщаться с ними, а не ради подаяния, что сегодня ему уже ничего не дают, не то что раньше, когда они концы с концами еле сводили. Он кричал, что некому стирать ему одежду и варить сваленный в огромную гору в углу дома рис, что он любит кушать с соседями, под шумные разговоры и среди резвящейся детворы. Что отвечал на это сын, соседи разобрать не могли. Когда же я задумал раздать милостыню в надежде на выздоровление своего сына Мухаммеда, я вернулся в аль-Авафи и забил пять баранов, чтобы отдать мясо бедным. Манин отказался принять мясо, сказав, что Зайед не простит ему, если узнает. Он привел к отцу служанку-индуску, которая поначалу несколько недель действительно стирала-гладила его одежду и помогала мыться, а затем у нее округлился

живот, и она перестала прислуживать. Зайед спешно отправил ее обратно на родину, и Манин вернулся в прежнее состояние, отпустил бороду, сидел на камне и кряхтел, посмеиваясь. Только выкрикивал свои привычные слова он уже не таким громким голосом. По большей части он вообще молчал, а когда приезжал сын, проводил все время с ним за бетонными стенами.

Манин надрывался: «Наводнение, Абдулла! В тот год на нас обрушилась вода, затопило все: и посадки, и пустыри, но, слава Всевышнему, мы выжили. Мы набились в палатки во дворе дома твоего отца и у дома шейха Масуда. Делили друг с другом финики и сушеную рыбу, все клали вперемешку в одну тарелку… Хвала Аллаху! Послушай, Абдулла, а «Вимто» у вас дома есть? Ты знаешь, сколько министерство доплачивает? Тридцать риалов. Хватает только на сигареты, Зайеду тетради и ручки уже не на что покупать. На Хафизу чтобы взглянуть только, надо было три риала выложить. А она говорит: «Пойди помойся, Манин!» К черту бы их! Но никуда не денешься… А вот в год наводнения столько их отдавалось за полмонеты! Однако, Абдулла, есть такие среди них хладнокровные, что их ни деньгами, ни речами ласковыми не купишь. Я этой Хафизе бутылку

«Вимто» принес, такую бутыль, с локоть, а она не дала… Эх, не видала она голода, не хлебнула с наше в тот год. Она мне говорит: «Тебе б помыться не мешало!» — а я ее спрашиваю: «Что, Заатар лучше меня?»

Через несколько лет Манин совсем ослепнет, лишится зубов и станет посещать обряды зара с хождением по углям и дикими воплями. И однажды его найдут с дыркой в голове, после того как, возвращаясь со сборища пьяным, он проорет во все горло: «Бедняга Манин! Подайте на пропитание! Дайте полакомиться! Еды и баб! На худой конец Хафизу!» Одни говорили, что его убили без вины и за него надо молиться как за невинную жертву. Другие, клеймя его развратником и пьяницей, отказывались молиться за его душу. Тело закопали на западном кладбище аль-Авафи. Когда наутро явилась полиция, все как один показали, что ничего не знают и выстрела не слышали. Спустя несколько дней дело закрыли. С тех пор в аль-Авафи никто не видел Зайеда.

Учитель Мамдух обучал нас всем наукам сразу. Девчонок у нас в классе не было, но Зайед умудрялся проникать в первый класс, где с мальчиками за партами сидели четыре девочки, дергать одну из них за волосы и сбегать обратно.

Прекратил он баловаться только после того, как Холя пожаловалась отцу. Как-то мы проходили суру «Аль-Хумаза» и повторяли из нее: «Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и пересчитывает его, думая, что богатство увековечит его!» Зайед искоса глядел на меня. Учитель Мамдух кипел гневом, осуждал накопительство богачей и ругал алчущих злата торговцев. Мне казалось, что Зайед сейчас прожжет меня взглядом. И когда учитель, зная заранее ответ, спросил нас, чем занимаются наши родители, я готов был сквозь землю провалиться со стыда оттого, что мой отец торговец. Ребята уверенно отвечали один за другим: «Крестьянин, кузнец, крестьянин, плотник, закройщик, судья, муэдзин, крестьянин». Мой черед приближался, и мне становилось дурно, я взмок. При слове «торговец» в воображении рисовался отвратительного вида толстяк с пузом, прячущий в тайниках золотые монеты и измывающийся над бедняками. Я думал о том, что рано или поздно перестанет быть секретом то, что мой отец, помимо шейха Саида, один из тех двух в аль-Авафи, кто имеет автомобиль, и тогда меня выставят посмешищем и затравят. Зайед заверещал: «Его отец — торговец Сулейман, хозяин «Большого дома», угодья их

тянутся до самого Маскяда». Никто не хихикнул, но я не знал в тот момент, куда деться от стыда, и жалел, что мой отец не простой трудяга, как у всех. Мы с Зайедом были единственными без денег на буфет, и нас оставляли ждать остальных во дворе. До средних классов моего отца было не убедить, что есть нужда ежедневно выделять хотя бы сто песо на завтраки. Когда наконец я начал получать свою сотню, моим одноклассникам давали уже две, а то и три на карманные расходы. Поэтому я каждый день вынужден был выбирать между хлебом, сыром и соком в пакетике. Все разом я смог позволить себе только после окончания школы.

Масуда

Неоновые огни проторили дорогу к каждому дому в аль-Авафи, обошли только жилище Масуды. Ветхая деревянная дверь ее дома жалобно поскрипывала каждый раз, когда ее открывали. Через пыльный двор можно было попасть в тесный полукруглый зал, за которым была лишь одна комната с постоянно распахнутой дверью. На стенах рядком были вывешаны потрепанные репродукции Запретной мечети и мечети Пророка и прибитый к доске цветной рисунок — Барак, резвый жеребец с головой сказочно прекрасной женщины. У стены были сложены дешевые матрасы, набитые поролоном, и всякая пластиковая утварь — разноцветные корзины, баночки различных форм с крышками, ложки, рядом с дверью зеркало в старой раме с треугольной наклейкой «Султанат Маскат и Оман». Зал же был совсем пуст, если не считать ковра с лоснившимися краями и скрученной вертикально в углу циновки. Масуда давно уже не входила в дом. Бывало, скрипнув дверью, в затхлый зал заглядывали после утренней молитвы соседки или ближе к

вечеру забегала девчонка. Масуда крикнет «Тут! Я тут!», но они и так знали: она в сарае во дворе, где раньше был ток, а теперь он служил комнатой, где оборудовали даже туалет — дыру в полу с железной посудиной. С тех пор как дочь объявила ее сумасшедшей, Масуда жила на токе, засыпанном гладкой галькой и накрытым подстилкой. В дыру в стене были вмонтированы железные прутья и вбита самодельная рама — получалось окно. Столб, к которому ее привязывали, когда она становилась буйной, и дверь — вот и вся обстановка. Едва услышав скрип, она цеплялась за прутья в окне и звала: «Тут! Я тут! Я Масуда!» Дважды в день, на обед и ужин, Шанна приносила ей еду из дома торговца Сулеймана. Ставила перед ней полную тарелку и забирала пустую, едва ли перемолвившись с ней хоть словом. Соседки заходили в основном ради того, чтобы получить плату за присмотр и лишь иногда поболтать. Девчонка же — чтобы справить нужду у стены, а порой — чтобы раздразнить и довести ее до истерики. Шанна могла объявиться у матери внезапно, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, и налить воды в посудину. В середине месяца она купала ее, мыла и расчесывала волосы, подметала дом и поливала двор.

«Я Масуда! Я Масуда! Я тут!» — завывала она, даже когда дверь дребезжала от легкого дуновения ветра. Откуда в темноте, без фонаря, ей было знать, что это не Шанна и не соседки? И она кричала, что было мочи: «Я тут! Я Масуда!»

Абдулла

Меня беспокоит Салем. После получения аттестата с низкими баллами его с трудом удалось устроить в частный колледж. Все с ним не так! Лондон говорит мне: «Пап! Ты пессимист!» Ничего, подрастет, поумнеет. Переживет опыт несчастной любви и перевернет новую страницу. Как я счастлив видеть, как утром она берет свой белый халат и с улыбкой на лице направляется в клинику. Хвала Аллаху, который даровал нам великую способность — забывать!

В детстве я слышал, как Хабиб мог загомонить: «Забытье?! Да где ж оно, будь оно неладно?!» Хабиба я всегда недолюбливал. Если он видел меня с Зарифой, оттаскивал меня от нее, зная, что я не расскажу об этом отцу. Зарифа не смела встать на мою защиту. Как я радовался, что он пропал! Его сыну Сангяру шел пятый год, когда люди стали шептаться, что Хабиб пустился в бега. Его мать-старушка с истошным воплем принялась кататься по песку и раздирать на себе одежду, будто предчувствуя, что он уже никогда не вернется. Однако его исчезновением никто не

был удивлен. Его не раз приводили обратно после неудачных попыток обрести свободу, вырванную у него пиратами и торговцами. Через несколько лет кто-то рассказывал, что видел его в Дубае в кофейне, где собирались белуджи. В то время у каждой народности было свое особое место в этом городе. Другие уверяли, что он подался в Мекран[11], в Белуджистан, женился и завел там детей. Также ходили слухи, что после побега он скончался от туберкулеза, не дожив до смены власти и открытия больниц. Зарифа не пролила ни единой слезинки. Я не слышал даже, чтобы она о нем упоминала. Уже будучи взрослым, я спросил у нее, почему она его не ищет, и она ответила своей любимой поговоркой: «Меньше знаешь — крепче спишь». Она одна воспитывала Сангяра, как могла. Он возмужал и уехал в Кувейт. Зарифа не посыпала голову пеплом и не рвала на себе платья. Она ждала и, когда через восемь месяцев умер мой отец, воссоединилась с сыном. Однако вскоре вернулась обратно, понося «змею подколодную» на чем свет стоит. Дальше я ее новостями не интересовался. Все мысли были заняты только обвалом биржи и рынка недви-

[11] Сноски: 11

Мекран — полупустынная прибрежная полоса на юге пакистанской провинции Синд.

жимости, строительством нового дома в столице, свадьбой Лондон, потом ее разводом, учебой Салема, болезнью Мухаммеда — кучей проблем. И тут неожиданно я узнал, что она ушла от нас в мир иной. Я был на похоронах отца, умершего в больнице, на похоронах дяди, которого разбил инсульт, захлебнувшегося в грязевом потоке Зейда, Манина, убитого метким выстрелом из пистолета, Хафизы, которая стала жертвой СПИДа, Марвана, сведшего счеты с жизнью кинжалом отца, на похоронах отцов и матерей друзей, только на прощании с Зарифой меня не было. Мне просто никто не сказал. Я не знал, что она болела, и, когда ее хоронили, мне не сообщили. Во сне ко мне пришел отец — разгневанный, с налитыми кровью глазами. Он тряс передо мной веревкой и спрашивал о Зарифе. Эх, Хабиб, а мать твоя старушка все еще жива! Просипел бы ты теперь, как раньше: «Забытье?! Да где ж оно, будь оно неладно?!»

Мийя и Лондон

Гостьи поглощали сладости и фрукты, Зарифа подливала им кофе, успевая между делом встревать во все разговоры. Женщины перебивали друг друга, смеялись, жаловались на мужей и детей, рассказывали, кто женился, кто развелся, а кто родил. Хвалили ткани удивительных расцветок, завезенные в лавки Хамдана, спорили о передачах, которые смотрели уже не только в доме шейха Саида и торговца Сулеймана, а повсюду, и обсуждали построенные на месте глиняных жилищ дома из цемента. Хозяйка дома Салима смотрела на них участливым взглядом. Вчера второй раз за все время после свадьбы Аззан преподнес ей золотое колечко с крупным голубым камушком. Не секрет, что Салима недолюбливала золотые украшения и те, которые получила на свадьбе по праву, не доставала, упрятав на дно большого сундука. Они с Аззаном не дарили друг другу подарки. Муж выделял ей необходимые суммы, не заставляя отчитываться за расходы на домашние нужды. И тут подарок! Салиме было как-то тревожно. Стоило ей выйти на кухню за

очередным подносом с нарезанными фруктами, как жена муэдзина и вдова судьи Юсефа кинулись перешептываться: «Сестра! Как муж мог позволить жене назвать свою дочь так чудно? У него что, характера нет? Во всем жене угождает? Будь он тверже, запретил бы, и все. Подумать только! Город, где живут христиане! Лондон! Никто вообще ребенка не называет как город!»

Мийя, лежа в постели, жевала в одиночестве финики. Асмаа не удалось уговорить мать сесть поесть вместе. А ее попытки привести в пример хадисы из жизни Пророка окончились тем, что жена муэдзина обвинила ее в отступлении от истинной веры и заявила, что ее слова — мешанина из надуманных книг со святыми устоями. Однако самой Мийе до всего этого не было никакого дела, о еде она вообще не думала — что ест и с кем. Она не представляла, как женщины могут без перерыва пихать в себя сладости и болтать, болтать и набивать щеки. Она любовалась тем, как малышка приподнимает верхнюю губку, распахивает и зажмуривает глазки. Девочка уже меньше хныкала, вовсю барахталась и дрыгала ручками и ножками. Мийя не могла наглядеться, как она это делает, а мать все время наказывала потуже пеленать ребенка. Эту белую пеленку

Мийя выбрала сама на рынке в Руви, когда приехала рожать в Маскат. Она закупила еще ворох белых маечек, добавив к ним пару желтых распашонок, которые годились как для мальчиков, так и для девочек. Красную помаду для Холи спрятала под одежду, чтобы мать ничего не заподозрила. Непонятно, почему мать так строга к Холе? Сестра — самая милая и обходительная девушка в аль-Авафи. И что такого, если она попросит отца купить ей колечко или золотой браслетик? Она того заслуживает, отец немало зарабатывает. Мийя недоумевала, почему мать щелкает Холю по носу за малейшую провинность. Если матери не нравится наряжаться, это ее право. Оставила бы Холю в покое.

«Ох! Вот бы Лондон выросла такой же красавицей, как Холя!» Вздохнув, Мийя провела ладонью по заметно отросшим волосам малышки. Потом остановила взгляд на ее морщинистом лобике. Правда ли, что в этих складочках зашифрована вся судьба человека? Что же написано на лбу у нашей дочурки? Но сколько ни вглядывалась Мийя, она не могла рассмотреть на лбу Лондон все те бессонные ночи, которые ей предстоят, когда дочке исполнится двадцать. Те ночи, когда она будет силиться припомнить черты Ахмеда,

расплывающиеся перед ней в ничто, будто его и вовсе не было. Словно все было сном — их жизнь и его смерть. Она будет сначала собирать по крупицам и рисовать в голове портрет брата, потом, ближе к рассвету, будет выдавливать его из памяти. Только один его образ невозможно выкорчевать ничем — фото из университетской газеты, где он смотрит слегка наискось. Годы спустя Лондон назовет этот взгляд отсутствующим.

Мийя, дотронувшись до головки ребенка, ощутила, что волосы приобрели жесткость. В первый же день Абдулла пришел на нее посмотреть и притащил с собой коробки с детским питанием. Мийя оценила его щедрость, но ничего не сказала. Во-первых, до трех месяцев она этого младенцу давать не будет. Во-вторых, она сама в состоянии ребенку приготовить что-то свежее, а не эти консервы, один Аллах ведает, как давно запаянные в банки. Никто в аль-Авафи таким детей не пичкает. И если он думает, что она станет повторять за женой его дяди из Маската, то сильно ошибается. Да, она по большей части отмалчивается, но ни за кем бездумно не копирует. Сама будет готовить дочери и нашьет ей ярких платьев, таких красивых, что все вокруг будут ахать. Ее всегда будут видеть аккуратно причесанной,

в начищенных туфельках, в платье с пояском. Мийя еще докажет, какая она хорошая портниха! Таких нарядов, как у ее дочери, не будет ни у кого. И имени такого тоже ни у кого не будет!

Абдулла

В ночь после переезда на новое место мне явилась во сне мать. Она была одета в белый просторный балахон и шла по воде. Я следовал за ней и звал ее: «Мама! Мама!» Но она не обернулась, и я проснулся, так и не увидев ее лица. Жалко, что в аль-Авафи раньше, до ее смерти, ни у кого не было фотоаппарата. Зарифа говорит, что я похож на мать, а сестра отца спорит, что я его копия. В тот день, когда Лондон развелась и мы вернули калым, мать приснилась мне во второй раз. Она брела немного впереди, я — за ней, ухватившись за край платка, покрывавшего ее голову и плечи. «Зачем ты сорвала базилик?» — спросил я ее. Но она не посмотрела на меня. И голоса ее я тоже не услышал. Когда умерла Зарифа, в сновидении ко мне сначала пришел отец, а за ним мать — высокая и тощая. Она прижала меня к груди. Я был маленьким, едва доставал ей до пояса. Она склонилась ко мне. Ее объятия стали объятиями Мийи, а лицо — лицом Зарифы.

Как всегда, я застал Мийю спящей. Когда мы все дома и я завожу с Салемом или Лондон серьезный

разговор, она удаляется в спальню. Дремлющей я ее вижу и после полудня по возвращении с работы. А стоило мне прилечь днем, Зарифа тут же злилась: «Народная мудрость гласит: “Чем спать, лучше с соседом пойти воевать”». У Мийи не было крепких отношений с соседями, не было у нее повода с ними и ссориться. Она могла отключиться в любое время суток. В первые годы нашего брака она поднималась рано, с трудом засыпала днем. А после рождения Мухаммеда столько раз укладывалась рядом с ним, сколько ложился он. Так продолжалось, пока он не вырос и вдвоем они уже не помещались на узкой кроватке. Часто, возвращаясь домой под вечер, я становился свидетелем одной и той же картины: они оба лежали, растянувшись на кровати и уставившись в крутящийся на потолке вентилятор. Мухаммед как завороженный смотрел на бегущие по кругу лопасти. А если его выключали, начинал реветь не переставая. Поэтому вентилятор у нас в доме работал, невзирая на то, какая стояла погода. Мийя могла проваляться так с ним сколь угодно долго, пока он не заснет. После перебиралась в свою постель.

Мужья

Салима поставила дочек в известность, что сыновья Иссы-мигранта Халед и Али сватаются к ним и что они с отцом дают согласие.

Приглушенным голосом Асмаа отозвалась, что подумает, и попросила родителей не давать ответа, пока она не решит. Холя же, слушая мать и сестру, застыла с раскрытым от ужаса ртом. Когда они замолчали, она сначала робко стала выдавливать из себя «Нет! Нет! Нет! Нет!», а потом перешла на истерический крик, ринулась в комнату, которую для девочек пристроили к дому, и щелкнула замком. Она отказалась отпирать дверь, пока не придет отец и она с ним не переговорит.

Асмаа продолжала помогать матери по дому: каждое утро варила кофе, разносила соки гостьям, нянчилась с новорожденной, стирала одежду отца, сестры-роженицы, пеленки малышки, но ни на минуту не переставала думать о женихе. И через несколько дней, когда молола на кухне кардамон для кофе, как бы между делом сообщила матери: «Я согласна за Халеда пойти!»

Аззан, припозднившись, возвращался размашистыми шагами домой от друзей-бедуинов. Холодный ветер трепал края его одежды. События развивались непредсказуемым образом. Люди разговаривали с ним будто намеками. Вчера, когда они устроили шуточное поэтическое состязание и по правилам Асмаа надо было начать строку с буквы «р», она выпалила против всех правил: «Безгрешный, не в чем упрекнуть, красив и в рубище убогом», потом зачем-то добавила еще одну: «Себя защитить от позора, ошибок твоих, прегрешений, быть выше твоих ухищрений». Неужто они прознали что-то про Луну? Луна! Наджия-Луна! Эта женщина показала ему, что он еще на что-то годится, показала, на что способно его тело! Какое наслаждение можно от него получать! Подумать только, он будто был непорочным до того, как встретил ее. Каждую ночь он, проваливаясь в песок, несся на встречу с ней, чтобы вдохнуть ее аромат. И после каждого свидания он еще больше жаждал прильнуть к источнику удовольствий, которые она ему дарила.

Между ними все было оговорено с самого начала: свободные отношения. Они оба хотели этого. Им казалось, что нет ничего более совершенного, чем свободная любовь. Без притворства, без при-

нуждения, без лживых обещаний, без напрасных надежд. Они жили, вернее сгорали, одним моментом. Без цепей, в которые нас заковывают думы о будущем. К этому они и стремились. Свободный мужчина. Свободная женщина. Свободные отношения. Однако по прошествии нескольких недель Аззан убедился, что их связь становится не чем иным, как самым страшным рабством. И что это будоражащее желание обладания обматывает их такими тугими путами, что ни о чем больше они и думать не могут. Они бесконечно то сходились, то расходились и чувствовали себя куклами в этой круговерти, накрепко привязанными к бегущему колесу. Потребность в обладании ею была какая-то дикая, доходившая до сумасшествия. Их встречи становились все более напряженными, желание более страстным и непреодолимым. Аззан бесшумно открыл ворота, подумав: «И в любви свободы нет». Он пересек двор, не заметив включенный в пристройке девочек свет, и, войдя в зал, обнаружил, что все семейство ожидает его прихода.

Мийя, укутанная в зеленую шерстяную шаль, кормила дочку, Асмаа перекладывала детские вещи с места на место и рылась в пеленках, боясь поднять голову. Салима, усевшаяся на пол,

смотрела на него в упор. Он разулся, из сандалий просыпался песок. Жена не поднялась ему навстречу, как было заведено.

— Что-то случилось? — спросил он, почесав бороду.

— Дочь твоя Холя с утра заперлась. Ни с кем разговаривать не желает, тебя ждет.

Аззан натянул сандалии и вышел. Он тихонько постучал в комнату девочек, и дверь открылась.

Салима вздохнула. Дул прохладный ветерок, с неба щедро капало. Зима напоминала ей о детстве, и от этих горьких воспоминаний у нее кололо сердце так, будто его на живую шили суровыми нитями. Будто паря в облаках, она спотыкалась об острые камни. Образ отца преследовал ее в двух повторяющихся видениях. Он склоняется к ней, с бороды стекает вода, которой он только что совершил омовение, поднимает ее и сажает на плечо, на другом сидит ее брат Муаз. Следующая картина — как зимним днем он лежал и отходил в мир иной. Салима ненавидела зиму, всегда приносившую с собой запах того старого пледа в пятнах от соуса, которым прикрывался отец, когда умирал, и запах гари из печки в его комнате.

Глаза у Холи припухли, нос покраснел. Она

выпалила отцу, что он предатель, что нарушает обещание, данное брату на смертном одре, что он торгует ею. Как смеет Али свататься к ней, когда она уже обручена? Как можно даже думать о другом женихе, ведь он поклялся умирающему брату?!

Холя пригрозила отцу, что не смирится, не стерпит, как Мийя, которую, не спросив, выдали замуж. Мийя необразованная, а она, Холя, получила диплом и скорее убьет себя, если отец будет неволить ее. Она была обещана двоюродному брату, как и он ей, и никто не вправе думать иное.

Аззан дал ей выговориться. Сердце его сжималось от осознания того, что дочка, которой нет и шестнадцати, готова расстаться с жизнью ради двоюродного брата, от которого уже несколько лет ни слуху ни духу.

— Успокойся, Холя! — сказал он ей. — Все будет хорошо.

Вернувшись в зал, Аззан, ни на кого не глядя, прошел к себе в комнату. Дождик прекратился, но бессонница мучила его до рассвета.

Абдулла

Жена дяди стояла посреди двора, залитого бетоном, в своем доме в Вади Удей, уперев руки в боки, и визжала мне прямо в лицо: «Отец, видно, так тебя под своей пятой держал, что ты, безвольный, и слова вымолвить боишься. У тебя что, права нет решить, как дочь назвать?! Лондон! Что за имя?! Кто такое имя давал когда в аль-Авафи, Матрухе, Низве, Вади Удей?» Я еле сдерживал смех. Сын дяди Марван, которого все привыкли звать Тахером, сидел тут же на скамейке во дворе и молча наблюдал за происходящим. Из него вообще было трудно слово вытянуть, в отличие от его брата Касема, моего одногодки. Тихий младший Марван с его задумчивостью был мне ближе по духу. Я ничего не ответил тетке. Это она несколько лет назад вдолбила дяде в голову, что нужно уехать из аль-Авафи от моего властолюбивого отца, его брата. Она же продала после смерти дяди их дом в Вади Удей, облепленный со всех сторон лавчонками. Она же запретила хоронить Марвана-Тахера в аль-Авафи, предав его тело земле на своем семейном кладбище.

Я испытывал к ней не ненависть, нечто другое. Когда я был маленьким, она с дядей и детьми занимала часть нашего большого дома. При этом готовила для своих ребят она отдельно и заставляла дядю есть с ними, а не с нами. Я часто слышал, как она ссорилась с сестрой отца и дядя пытался их примирить. Когда я сидел после утренней молитвы на выступе внешней стены дома, она, проходя мимо с корзиной белья на голове в направлении канала, задавала мне один и тот же вопрос: «Что было на ужин?» Я терялся. У нас считалось стыдным говорить о еде. Если я был голоден и донимал Зарифу, что будет на обед, то слышал только «Увидишь!». Так было заведено у нас дома: мы узнавали, что готовили, в тот момент, когда еду ставили перед нами, ели быстро, без лишних разговоров, мыли руки и возносили хвалу Аллаху. Что ели — не обсуждали, тем более не жаловались. Но жена дяди все равно лезла ко мне с этим нелепым вопросом. Наш дом всегда в часы трапезы наполнялся гостями, среди которых были и бывшие рабы, поэтому ни для кого в округе не было секретом, что подавали вчера на ужин. Если не плов по-кабульски, то непременно рыбу под луком с лимонной подливкой.

Раз я присел посмотреть, как мальчишки

гоняют в футбол. Я грезил попасть к ним в команду, но отец запретил мне выходить из дома в его отсутствие. После каждого забитого мяча я подскакивал с криком: «Го-о-о-ол!» Во дворе появилась жена дяди с протекающей корзиной стираного белья. Она шла уверенной походкой, балансируя с ношей на голове. Увидев меня, она засмеялась: «Сидишь как на цепи, бедняга?» Я вскочил и, перевернув ее корзину со стиркой на землю, завопил: «Яд! На ужин вчера был яд! Отстань!» У нее из глаз искры посыпались от злости. Но вовремя вмешалась Масуда, уведшая меня в дом.

Масуда тяжело пыхтела от натуги под вязанкой дров. Еще до зари она отправилась за аль-Авафи срезать сухие ветки акаций и собирать их в связки. Потом они под котлом, в котором будет вариться наш ужин, превратятся в головешки. А на следующее утро она опять ни свет ни заря поплетется за ними. Переведя дух, она сказала мне: «Не слушай ее! Ступай в дом!» С того дня я перестал существовать для жены дяди. А спустя несколько месяцев она уговорила его взять детей и переехать в столицу, в Вади Удей.

С тех пор и до того времени, как я стал взрослым и начал путешествовать, никто не подходил

ко мне с дотошными расспросами об ужине. Я заметил, люди теперь могут часами болтать о еде, смотреть мерзкие рекламные ролики, показывающие мужчин и женщин с разинутыми ртами и облизывающими языками, как они заглатывают кусок за куском. Кругом друг друга спрашивают: «Что ел сегодня?» или «Что у вас будет на обед?», не находя в этом ничего предосудительного. Салем, возвращаясь из колледжа, вместо того чтобы поздороваться, заходит со словами «На ужин что?». И если ему не по вкусу то, что приготовила мать, он встает из-за стола и направляется в пиццерию или «Макдоналдс».

Холя

Как только отец вышел из комнаты, Холя снова бросилась запирать дверь. Она застыла у окна и, заметив первые капли дождя, развернулась в сторону Мекки, чтобы совершить молитву. Мать всегда говорила ей, что во время дождя Аллах слышит наши мольбы. Она воздела руки и повторила слова, которыми привыкла заканчивать ритуал:

— Аллах! Сведи нас с Нассером, а то умереть мне в печали.

Закончив, она прилегла, положила ладони на живот и свернулась в позе эмбриона, с наслаждением прислушиваясь к стуку капель. Ей захотелось выбежать на улицу и промокнуть до нитки, так чтобы с волос стекали струйки. Но она не смела показаться на глаза матери. Холя перевернулась на спину и принялась разглядывать на потолке вентилятор и неоновые лампы, погружаясь в воспоминания.

В далеком детстве они после обеда играли с соседскими ребятами в такую игру: делились на два отряда — восточной и западной стороны —

и преследовали друг друга по всем закоулкам аль-Авафи. Холя держалась подальше от Зайеда, который дергал ее за косички, и ни на шаг не отходила от Нассера. Частенько им удавалось улизнуть из своей команды, они забирались в сад муэдзина и срывали там бутоны с единственного во дворе розового куста. Он вплетал ей в волосы цветки, порой забывая ее предупреждения о том, что в них могут прятаться шипы, и на лбу у нее появлялись мелкие царапины.

Холя перевернулась на бок. Взгляд упал на единственную на противоположной стене картину, которую повесила Мийя еще до замужества и переезда. В тонкой позолоченной рамке были заключены уходящие за горизонт плодородные зеленеющие пастбища, над ними клубились кучерявые облака. Пейзаж казался нереальным. Мийя утверждала, что это Англия. Разве бывает столько зелени? Немыслимо! Самый большой пригодный кусок земли, который Холя в жизни видела, — это их возделываемый участок, где в стволе одной из старых пальм она хранила конверт с фотографией Нассера.

Она ясно помнила тот день. Мальчишки и девчонки притомились от забав. Дневной свет пошел на убыль. Большинство разошлись по

домам. Но были те, кто еще оставался. Нура предложила разыграть имена супругов и будущие профессии. Надо было записать столбиком два списка — один с именами, другой с названиями занятий, все под номерами, наугад выбрать число и огласить ответ. Абдель Рахман, сын судьи Юсефа, выкрикнул «двадцать», и вышло, что его жену будут звать Холя. Нассер тут же подскочил и потребовал у него переиграть, назвав другое число. Тот отказался, за что получил удар в лицо. В кровь разбив сопернику нос, Нассер повторил: «Холя — моя двоюродная сестра и моя будущая жена! Моя! Мы друг другу обещаны!» Сколько ей было тогда лет? Не больше девяти. А Нассеру? Около двенадцати, наверное. Может, больше. Она помнит, как он привел ее за руку домой и вдова дяди, его мать, поставила перед ними тарелку с финиками в топленом масле, как перед ее уходом он вложил ей в руку конверт со своей карточкой, вырванной из школьного пропуска, и как мать набросилась на нее с тумаками, когда она вернулась с наступлением темноты.

Холя вновь легла на спину и заложила руки за голову. Ей не по вкусу был молочный цвет стен, но в других комнатах она не находила отдыха вовсе. Как только старшая из сестер подросла, мать

задумалась о помещении для девочек с отдельным входом, в которое нельзя было проникнуть из других комнат и тем более из общего зала. Двери их дома стояли нараспашку, как выражалась мать, имея в виду, что к ним часто в гости заходили женщины, и ее девочкам, уже на выданье, не следовало попадаться им на глаза, не нужно им было слушать разговоры замужних. Сестры загорелись идеей иметь свое пространство, где Асмаа могла бы разместить книги, а Холя найти отличный угол для трюмо. Что касается Мийи, то она продолжала шить в зале, а с приходом гостей, как только мать подавала ей знак, удалялась в новую комнату. Холя вздохнула. Все это было до того, как Мийю выдали замуж, она родила и сама стала участвовать в женских посиделках.

Посреди комнаты был расстелен большой красный ковер. Вдоль стены, плотно прижатые друг к другу, стояли три деревянных шкафа, у каждой свой. Мать сама рассчитывала размеры и давала плотнику указания, какой узор на них вырезать. Мечта Холи иметь шкаф с зеркальной дверцей так и осталась мечтой. Вместо этого мать распорядилась прибить овальное зеркальце в деревянной раме на стене напротив. И Холя была вынуждена стоя расчесываться и подкрашивать

губы новой помадой, которую привезла из Маската Мийя. Интересно, как Нассер себя поведет, когда в их первую брачную ночь она распушит перед ним свои мягкие локоны? Асмаа уже начинала складывать свои книги в их с Мийей ящиках. Холя удивлялась: что занимательного находит сестра в этих брошюрах министерства наследия? Сама она могла читать только те книги, которые Асмаа с презрением отбрасывала: «Романы-однодневки!»

Ее подруга Нура увлеклась подобным чтивом, съездив в гости к родственникам в Маскат. Оттуда она привезла с собой несколько романов, чтобы подсадить на них и Холю. Истории волшебной любви среди лесов, полей, рек, утонченная красавица-героиня, сильный и бесстрашный герой-симпатяга. Перед сном Холя представляла себя с Нассером на далеком зеленом острове, по которому бродят дикие животные, а в небе парят райские птицы. Несколько месяцев она прятала его фото в одном из карманов одежды, развешанной в шкафу. Затем Нура напугала ее, что мать в один прекрасный день может обнаружить фотографию и что лучше места не найти, чем ствол старой пальмы у них на участке. Именно к этому дереву и совершала Холя паломничества все свое

отрочество. Когда мать Нассера вышла на кухню за тарелкой с финиками, он взял Холю за руку и сказал: «Не выходи замуж за Абдель Рахмана! Я твой суженый. Я твой двоюродный брат, не он». Холя не забыла эти слова и не верила, что Нассер мог оказаться предателем. Два года, три, пять лет. Пусть так! Что, если обстоятельства мешают ему вернуться? Конечно, сейчас для него главное — получить образование, а письмо он Холе не может послать, потому что опасается гнева ее матери. Нет, он ее не забыл. Они сосватаны. Она будет ждать.

Когда он получил аттестат зрелости с высокими баллами и в честь этого события угощал всех соседей газированными напитками, она училась еще в младших классах. От радости у нее кружилась голова, она выпила три банки и подарила ему серебряную ручку, которую ей привезла из Маската Нура. Он поцеловал ручку у нее на глазах, и она зарделась от смущения. Он рассказал, что выиграл грант в Канаду, поэтому она должна готовиться к свадьбе летом, чтобы он взял ее с собой. Она расплакалась. Затем Холя написала ему длинное послание, пририсовав в конце красным карандашом сердце, пронзенное стрелой, но не нашла у себя фотографии, чтобы

вместе с письмом вложить ее в конверт, как героиня романов. Тогда она поступила в точности как он: оторвала от школьного пропуска карточку, с которой удивленно глядела ученица шестого класса с длинными косичками и ожерельем из голубых бусин.

Холя, вздыхая, ворочалась на кроваво-красном ковре. Слухи ходили разные: что он провалился на первых же экзаменах, что он занимался чем угодно, но не учебой, что он даже матери своей не звонил, что министерство отозвало его грант из-за неуспеваемости, что он уже не вернется. Пусть болтают что хотят! Нассер приедет. Приедет к ней. К красавице Холе, которая ждет его, бережет себя для него и ухаживает за собой ради него, скоро их свадьба.

У нее в шкафу спрятана копилка в форме домика. Никто не знает, что это его подарок на окончание первого класса. Она поклялась, что каждые сто песо, в нее положенные, будут потрачены только на приданое. Кто такой этот сын Иссы-мигранта, что дерзнул сделать ей предложение? Разве он не знает, что она уже обещана? Наглость! Вот так запросто! Как они только посмели явиться к ним в дом свататься, когда уже есть уговор с двоюродным братом? Аллах Всемо-

гущий! Если семья будет настаивать на браке с Али, она покончит с собой!

Абдулла

В иллюминатор виднеется цепь огней, текущих от городов к морю извивающимися потоками, как паводок, но только совсем не похожий на тот, в котором захлебнулся Зейд.

Это случилось примерно за год до того, как я впервые увидел Мийю. С тех пор его распухший в воде труп неотступно преследует меня каждую ночь во сне. А последнее время, когда я возвращаюсь с вечеринок, на которые стал украдкой отлучаться из дома, чтобы послушать уд[12] Сувейда, он из ниоткуда выскакивает передо мной в темноте. Стоило мне увидеть Мийю, красивую, но печальную и бледную, сидевшую, сгорбившись, над швейной машинкой так, будто она обнимала дитя, Зейд перестал меня пугать. Ни на ночной дороге, ни во сне он больше не являлся мне.

Меня охватывало ощущение легкости. Казалось, что я растворяюсь в мелодии уда, что вот-вот исчезну в луче света, идущем от бледного лица Мийи, что еще мгновение — и селевой поток подхватит и унесет ее швейную машинку,

---

[12] Сноски: 12
Струнный музыкальный инструмент (*прим. пер.*).

чтобы поставить меня на ее место. Я физически чувствую, как своими пальцами, такими же тонкими, как у музыканта Сувейда, с нежностью прикасающегося к своему инструменту, Мийя заново воссоздает меня из глины Творца.

Только бы отец меня не увидел!

Я думал, что он лег уже в постель, но по какой-то причине он не остался у себя в комнате после вечерней молитвы. Я вышел. Зарифа, как обычно, заперла за мной дверь. Перед тем как лечь спать, она должна была повернуть ключ в замке.

Однако по возвращении я обнаружил себя перед закрытой дверью. Я застыл в испуге, не зная, как быть. Неужели Зарифа забыла?! Или кто-то после нее подошел и запер дверь?

Моя растерянность была недолгой. Дверь неожиданно распахнулась. Из темноты на меня уставился отец.

«Сын Фаттум… Эх, сын Фаттум! Считаешь, взрослый? Ослушаться вздумал?! Эх, сын своей матери!»

Он долго орал, потом с ревом так вдарил мне в висок, что я потерял сознание, и оставил меня истекать кровью под дверью. А когда я очнулся, то услышал, как где-то навзрыд плакала Зарифа.

Я завопил было: «Я уже не мальчик! Имею

право выходить вечером куда хочу! Как все!», но понял, что так ослаб, что голос мой едва слышен.

Не прошло и двадцати пяти лет, как я сам уже кричал с лестницы: «До сих пор гуляешь?! Ослушаться вздумал?!»

Салем вернулся в два часа ночи, и я принял его за пьяного. Я стал ругать его, но не узнал собственного голоса. Будто вместо меня исходил злобой кто-то другой. Мне показалось, что это идущий из темноты голос отца, который замахнулся, чтобы нанести мне удар в голову.

На следующее утро, когда я наматывал вокруг головы мусар и уже собирался выходить из дома, ко мне зашел Салем. Он был все в том же состоянии. Проговорив: «Я сожалею! Очень!», он покинул комнату.

Когда же я повторил Мийе: «А я тебе говорил, из твоего сына не будет толка!», она стала его оправдывать: только закончились экзамены, все его сверстники гуляют допоздна, он уже не мальчик.

Гадюка

Зарифа долбила кулаком со всей силы: «Выходи, Сангяр!» Он поспешил открыть дверь: «Сейчас, мам!»

В комнате она не хотела говорить. Они ходили сначала во дворе, потом вышли прогуляться по улочкам, которые едва освещались из тех домов, где горел свет.

— Это правда, Сангяр, что я слышала? Ты собрался уехать из страны и бросить нас?

— Да, это так. Если хочешь, поедешь со мной.

Она чуть не задушила его: «Сначала назвал ребенка каким попало именем, теперь сбежать решил!»

Он резким движением сбросил ее руки.

— Послушай, мать! Какая разница, какое имя девчонке дадим. Если б родился мальчик, я назвал бы его Мухаммедом, или Хилялем, или Абдуллой.

— Да ты что! — завизжала Зарифа. — Сулейман убьет тебя! Назвать ребенка таким же именем, именем господина?! С ума спятил! Ты с кем равняешься? Кто тебя воспитал? Кто наукам обучил?

Кто женил?

— Послушай, Зарифа! — процедил он сквозь зубы. — Торговец Сулейман, да, воспитал меня, дал образование и женил, но ведь все это в его же личных корыстных интересах, чтобы я, жена моя, мои дети ему потом прислуживали. Что я буду делать, Зарифа, торговца Сулеймана касается в последнюю очередь! По закону мы свободные люди. Очнись, Зарифа! Все перевернулось, мир изменился, а ты все твердишь «господские дети, господские дети». Уже все образование получили и должности, только я, по-твоему, по-прежнему должен служить торговцу Сулейману?! Старик из ума выжил. Открой глаза, Зарифа! Мы свободны! Сегодня каждый сам себе господин, но не другому. Я свободен ехать куда захочу. И детей назову, его не спрошу. Если ты хочешь оставаться подле него, твое дело, оставайся…

Зарифа замахнулась, чтобы дать Сангяру пощечину, как бывало в детстве, когда он бедокурил, а остепенился он совсем недавно, — но он отпихнул ее. Она свалилась у стены, не в силах сдержать рыдания. На ее вопли подошла проходившая мимо Фатима. Увидев ее, Зарифа, будто у нее кто-то умер, обхватила Фатиму руками за плечи, приложила свой лоб к ее голове и затряс-

лась, причитая:

— Пропал мой мальчик, Фатима! Оставил меня! Заговорил, как его отец, слово в слово, весь этот бред. И так же уедет, как тот. Свобода! Свобода! Сначала отец его извел меня этим словом. Не успела я оправиться, как Хабиб сбежал, теперь сын приходит с этими же словами «Свобода! Рабов больше нет!». А мне что надо? Просто чтоб сын был рядом. Ему эта змея нашептала бросить меня и уехать. Хочет добить меня. А куда ему ехать? Что он будет там делать? Кто кормить его будет, кто позаботится? Пропал сыночек мой, Фатима, нет больше его.

Фатима слушала Зарифу, заливаясь слезами.

Справедливости ради, идея уехать пришла в голову не Шанне, жене Сангяра, но она сразу же согласилась. За год до этого, когда незадолго до смерти отца Шанны Зарифа сказала ей, что придет ее сватать за Сангяра, она чуть рассудка не лишилась на радостях. Шанна только и мечтала о том, чтобы выскочить замуж и покинуть развалюху, в которой жила. У Сангяра, по правде говоря, ничего за душой не было. Но Шанна была осведомлена о его планах рано или поздно податься куда-нибудь из аль-Авафи. Ей уже опротивела эта деревня со всеми ее жителями, скотом,

горами и наделами. Она распаляла в Сангяре желание начать новую безбедную жизнь где-нибудь далеко отсюда. Она устала от бедности, от всего, что за ней тянулось: грязь, неприглядный быт, унижения. Она устала от того, что вынуждена была два раза в день носить на голове кувшин с водой, от гари плиты, от пыли веника. Но больше, чем аль-Авафи, его жители и скотина, ей опостылела собственная мать.

С самого раннего детства она помнила мать согнувшейся, с воспаленными глазами без ресниц, с сухой до трещин кожей. Когда Шанна подросла, кто-то сказал при ней, что у матери спина сгорблена от того, что она переусердствовала, подметая двор и собирая дрова. Шанна, как могла, стала избегать ее, скрывая от людей свое пренебрежение. Что касается матери, то, помимо прочих несчастий, на нее после смерти мужа свалилось еще и безумие. «Да, она сошла с ума», — повторяла за соседями Шанна. Она никак не могла понять, почему отец женился именно на этой женщине, которая все время мела двор или таскала дрова. Она удивлялась, как они проводили вместе вечера, о чем разговаривали друг с другом и чему вместе радовались. Отец был статным мужчиной. Говорили, что он запросто поднимал

два мешка риса или две корзины фиников. Этот дом из глины он построил своими руками. Он мог жениться еще раз, но оставался верен всю жизнь этой странной женщине. Порой Шанна задумывалась: если бы он взял вторую жену, у нее народились бы братья и сестры, которыми она занималась бы и не обращала бы внимания на недостатки матери. Но, как говорит Зарифа, ставшая ей свекровью, беда не приходит одна. В любом случае Сангяр скоро соберется уехать отсюда, так же как его отец. И Шанна избавится наконец от этого бремени, от этого раздающегося звоном в голове их общего позора: «Я здесь… Я Масуда».

Абдулла

Мухаммед отвел взгляд от крутящегося на потолке вентилятора и тут же занялся другой игрой — открыванием и закрыванием двери. Он мог проделывать эти однообразные движения по несколько часов на дню. Напрасно было пытаться его отвлечь или заставить произнести тот недлинный список слов, лишенный всякой логики, которые он знал.

После моего ухода из дома Мухаммед ни на шаг не отпускал от себя мать и сидел, дергая туда-сюда дверь. Она молча за ним наблюдала. Уставший после работы и утомленный встречами с друзьями, я возвращался домой, чтобы застать их за одним и тем же занятием: она сидит и слушает, как он, будто попугай, выкрикивает одни и те же слова. В конце концов его берет зевота, и он засыпает, она ложится с ним и спит, пока не проснется он. Однажды, вернувшись, я увидел, что он сидит один, а Мийя принимает душ. Монотонный стук двери чуть не свел меня с ума. Меня тянуло впечатать его головой в дверь или расшибить ему лоб кулаком. Я пожелал, чтобы он открыл не

дверь, а окно и вылетел наружу. Да! Да! Я желал, чтобы он, как воробей, вылетел отсюда и этот размеренный стук наконец оборвался.

Салима

Аззан сообщил Салиме, что дал согласие Халеду, сыну Иссы, отдать за него Асмаа. А также просил принять извинения, что брака с Холей не будет, потому что девушка просватана за двоюродного брата. Салима подняла на него полные укора глаза:

— Какого такого двоюродного брата? Нассера, о котором мы уже четыре года как слыхом не слыхивали? Который уже целую вечность ни нами не интересовался, ни о ней не спрашивал? С каких пор она просватана? О чем ты? И где этот брат? В Канаде сгинул, а мы нашу дочь для него придерживаем?

Аззан отвернулся.

— Я дал людям ответ, и на этом кончено. Если надо готовить Асмаа и договариваться через женщин о калыме, приступай! Но с Холей — всё, решено.

Он набросил на плечи шерстяной шарф и вышел, как делал уже каждый вечер.

Салима тихонько пробралась в среднюю комнату. Мийя дремала. Она взяла малышку,

развернула пеленку и принялась обрабатывать воспаленный пупок маслом с солью. Девочка распахнула глазки и уставилась на Салиму. По щеке медленно стекла слеза. Как она напоминает ей Мухаммеда, который скончался младенцем! А еще больше Ахмеда!

Она туго запеленала ребенка, положила обратно в кроватку, посмотрела на девочку еще раз и зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела не внучку, не покойных Мухаммеда и Ахмеда, не хмурое лицо Аззана, не выкрашенную голубым комнату с сервантами, полными посуды, — она увидела дом своего дяди.

Нет, точнее, не дом дяди, а ту линию, где заканчивалась высокая толстая стена крепости рядом с ним и начиналось небо. Она сидела, прислонившись к стене кухни снаружи, и прислушивалась к тому, что делают рабыни внутри, к их ругани, шуткам, крику, и наблюдала за их потасовками во дворе. Снова послышался тонкий голосок жены дяди, раздающей приказы. Сколько же лет она просидела так, никем не замеченная, уставившись в то место, где стена становилась небом?!

Она пыталась не просто восстановить картинку в памяти, но и почувствовать то же, что переживала в то время. Тосковала ли она после

смерти отца? Скучала ли по матери? Обижалась на кого? Всего этого она не помнила. Помнила только, что очень ярко светило солнце, что пахло гарью с кухни и что единственным ее чувством был голод.

Люди обсуждали последствия Второй мировой войны, ужасающую дороговизну, стычки между племенами, а она не догадывалась, как это все связано с теми взглядами, которые бросала на нее жена дяди, когда она несла ложку с едой ко рту за обедом. Завтрака Салима лишилась после того, как умер отец и дядя забрал их с Муазом к себе. А после обеда она в сторонке смотрела на то, как взрослые пили кофе, закусывая финиками.

Когда к ним приезжали гости из другого племени, дом наполнялся запахом жареного мяса, бульона и тонкого хлеба. После их ухода все они, с женой дяди и их детьми, собирались вокруг огромного подноса с остатками еды — супом на дне кастрюли и обглоданными костями. Дети дяди дрались за эти объедки, а его жена сидела, пристально смотря на руку Салимы. Когда Салима тянулась к тарелке, ей самой казалось, что рука у нее огромная, а рот до уродства широк. В те дни, когда гостей не было, на обед ставили рыбу под луком с лимоном, которую запивали водой,

и немного фиников. Рис был настолько дорог, что его варили только больным. Ее воротило от одного только запаха рыбы, но живот от голода скручивало так, что она зажмуривала глаза и ела. Да, голод — главное воспоминание ее детства, проведенного в доме у дяди.

Раздался резкий крик малышки. Салима обернулась.

— Она голодна! Дай ей молока, Мийя!

Мийя приподнялась, покормила ребенка и, уложив дочку спать, снова растянулась на постеленном для них на полу матрасе. Салима принесла гладкие камни, нагрела их на углях и обернула в полотенце, чтобы они, сохраняя тепло, не сожгли Мийе кожу. Мийя подняла одежду, обнажив живот, и мать положила на него эту грелку, прижав посильнее старой шалью. В течение сорока дней дважды в сутки мать проделывала эту процедуру, чтобы после родов у Мийи не обвис живот. Ее не столько беспокоили камни, сколько мешала тугая повязка на животе, которую она была вынуждена носить и днем и ночью, даже после душа.

Вошла Асмаа и с улыбкой посмотрела на Мийю с камнями на животе.

— Скоро поеду в Матрах за золотом, платьем и

сундуком тебе на свадьбу, в следующем месяце уже, — обратилась к ней мать.

Асмаа кивнула, замечтавшись о своем будущем материнстве.

В ее библиотеке совсем ничего, что можно было почитать о материнстве. Неужели шейх Масуд, ее дед по матери, от которого они получили в наследство это богатое собрание, не думал о таких важных вещах? Или по этой теме вообще мало литературы? Асмаа не знала. Другие-то библиотеки она не разбирала.

Аззан и Луна

Аззан положил голову Луне на колени и уставился на яркие звезды на ясном ночном небосклоне. Она провела пальцами по его ресницам и бровям, собирая песчинки и отправляя их себе в рот. Он уже привык к этой ее причуде. Аззан, затаив дыхание, слушал ее, восхищаясь, как увлеченно она болтает о своем доме, верблюдицах, работницах и брате. Стоило ей замолчать, как он провел ее ладонью по своей щеке:

— Продолжай, продолжай! Я люблю слушать тебя!

Она прилегла рядом на песок, они оба заложили руки за головы и обратили взоры на Большую Медведицу, которую в это время года было ясно видно.

— Ты расскажи что-нибудь, всегда молчишь! — шепнула Луна.

Аззан вздохнул и через минуту начал рассказ. Он поведал ей о старой, но не заживающей ране — своем сыне Ахмеде.

Ахмед родился с малым весом и очень бледным. Мать готовилась к тому, что он умрет в любую

минуту, как их первенец Мухаммед, которого она потеряла через два месяца после родов. Она вешала на Ахмеда все возможные амулеты, которые только ей давали знахари. И сам Аззан, надо сказать, не надеялся, что дитя выживет.

Однако Ахмед жил, и его тщедушное тело продолжало бороться за то, чтобы не повторить судьбу Мухаммеда. Он цеплялся за жизнь, рос подвижным, ел как пташка и мало спал, всюду проворно сновал и без остановки тараторил.

Аззан поверил: мальчик станет его продолжением, будет носить его имя, унаследует состояние, станет опорой в старости. Мать не стригла ему отросшие локоны, боясь сглаза, а под одеждой прятала амулеты — один из кожи, другой из серебра. Не снимала их до восемнадцати лет, тогда он и погиб.

Смерть настигла его вопреки надеждам родителей, что опасность уже миновала. Когда они расслабились и перестали сдерживать свою любовь к нему, смерть пришла за ним.

Луна сглотнула:

— И что с ним случилось?

На лице Аззана появилась вымученная улыбка, и он прикрыл глаза.

— Что с ним случилось? Его сгубил «Ренджро-

вер».

— «Ренджровер»? Он под машину попал? — переспросила Луна.

Улыбка Аззана обрела черты горечи:

— Его сгубил зеленый «Ренджровер».

Когда Ахмед заболел и впал в беспамятство и даже пощечины не приводили его в сознание, Салима бросилась в дом к своему дяде шейху Саиду. Тот был уже стар, но не до такой степени, чтобы сердце его растопили ее мольбы. Она умоляла его, взывая к памяти его покойного брата шейха Масуда, просила именем его отца, вымаливала просто милости, заклинала поступить согласно свыше данным нам законам, уговаривала проявить щедрость, доброту, забыть обиды, заклинала всем, что могла еще придумать мать, у которой сын умирал в горячке.

Но он был непреклонен: «Ренджровер» в такую даль он не даст, он только сам на нем может выезжать из аль-Авафи.

На следующий день Ахмед от высокой температуры начал бредить. Аззан вместе с Салимой вернулись в дом ее дяди. Он долго объяснял, что сыну стало хуже, что только на его машине можно вывезти его из аль-Авафи в столичную клинику «ас-Саада». Они могут запрячь осла, но

тогда дорога отнимет четыре-пять дней и мальчика поздно будет спасать. Аззан готов заплатить шейху, сколько тот запросит, он полностью оплатит шофера.

Но шейх ответил: «Мне к сказанному добавить нечего. «Ренджровер» за пределы аль-Авафи не разрешаю брать. Твой сын поправится и без докторов. Никто от горячки здесь еще не помер, все в себя приходят».

Аззан и Салима вышли из его дома, отворачиваясь от припаркованной тут же зеленой машины. Когда пару лет назад шейх Саид приобрел ее и шофер пригнал авто в аль-Авафи, все жители вышли поглазеть на диковинку. Даже его старушку мать под руки вывели рабыни. Услышав рев мотора и увидев, как с бешеной скоростью закрутились черные колеса, она забросала автомобиль камнями с криком, что машина эта от шайтана. Один из камней разбил окно в доме, и шейх приказал слугам увести мать в дом, пригрозив, что если они позволят ей выйти, то он прикажет их высечь и оставит мучиться на жарком солнце. За руль садился только сам шейх. Если с ним была в салоне одна из его жен, то окна зашторивались.

По пути домой Салима захлебывалась слезами. Аззан же думал только о машине. Он поклялся,

что получит разрешение от властей, как шейх, и купит такую же, пусть для этого надо будет продать всю землю до последнего клочка, которая ему досталась от отца.

Но Ахмед не дождался, пока отец выполнит обещание, и скончался. С него сняли одежду и амулеты, посреди двора разложили носилки, соседи принесли ведра воды с мельницы, чтобы омыть тело, затем окурить благовониями и смазать маслом. Тело Ахмеда обернули в белый саван, и процессия направилась на кладбище к западу от аль-Авафи.

Судья Юсеф обратился к Аззану: «Твой сын попал в рай! Да прольются на тебя блага Всевышнего прохладным потоком в сухой день!» Аззан молчал как окаменевший, ведь он мечтал, чтоб Ахмед подал ему стакан воды в старости. Еле владея собой, он продолжал встречать пришедших с соболезнованиями, пожимая руки всем, не исключая шейха Саида.

Луна утирала слезы. Аззан заметил, что это первый раз, когда он заговорил о сыне после его смерти.

— Ты даже с женой не говорил? — удивилась Луна.

— Тем более с ней!

В этот самый момент Салима пробиралась незамеченной по улочкам аль-Авафи. У нее была важная встреча, и она спешила обернуться и оказаться дома раньше, чем вернется муж от своих друзей из пустыни.

Она гнала от себя мысли, в каком мрачном месте побывала, на каких безумных условиях заключила договор. В ушах звенели последние слова, которые она услышала уже на пороге: «Не беспокойся, русалка, все получится!» Ох уж эти люди, все им неймется, никак не могут ей забыть. У нее одна дочь замужем, вторая уже сосватана, а они все не отстанут от нее с этим ненавистным прозвищем.

Кипя от злости, она быстрыми шагами приближалась к дому.

Абдулла

По прошествии сорока дней, которые Мийя провела у матери, мы вернулись к моему родителю. Она никуда не выходила и как будто пропускала мимо ушей все слухи о связи своего отца с красавицей бедуинкой, которые распространялись по городу с той же скоростью, что огонь в засуху.

В Маскат и обратно в аль-Авафи я ездил на машине отца по нескольку раз на неделе. В дороге приходили мысли о том, достоин ли я такой благодати. Счастливый человек едет на белом «Мерседесе» домой, где его ждут любимая жена, двое детишек, отец. Да, я был счастливым человеком. Мне не было тридцати, и о большем, чем имел, я не мечтал. Во всем я находил наслаждение — в затемненных стеклах автомобиля, в блеске пуговиц на одежке Лондон, в струйках воды, стекающих с длинных волос Мийи, в том, как сверкает иголка в ее руках, когда она пришивает розочку на платье нашей дочки, в редкой улыбке отца. Всего этого слишком много для меня! Слишком огромно мое счастье! Я не был уверен, что достоин его.

Зарифа

Ах, Зарифа! Как ты ошибалась, когда думала, что Хабиба и вспоминать не будешь! Нет, Зарифа, он допек тебя, воплотившись в сыне, который вырос и стал терзать твою душу так же, как его отец.

Сгнил ли он в чужой земле или море поглотило его, жив-здоров ли он в Дубае или Белуджистане, черт с ним, но он успел посеять это смутьянство в Сангяре.

«Мы свободны, мать, свободны по закону! И будем называть наших детей как захочется!»

Твой мальчик сошел с ума, Зарифа! Нет, это не змея его сбивает с пути истинного. Это семя, ой, дурное семя, которое он оставил на меня, перед тем как сбежать.

Хабиб! Хабиб! Я все пыталась тебя забыть, а твоя поросль всходила у меня на глазах, чтобы потом застить их слезами. Даже торговца Сулеймана, который его приютил и в школу устроил, он обзывает выжившим из ума старикашкой.

Как не доходит до тебя, что благодаря ему мы не знали нужды, что сейчас мы стояли бы на улице с

протянутой рукой и приставали бы к прохожим, как Манин. Свободны!.. Свободны! Этот мальчишка задумал теперь бросить тебя, как жена его, гадюка, бросила свою мать, оставив ее на милость соседей. Бедная Масуда!.. Да, она завидовала тебе, Зарифа, ведь тебе не нужно было, как ей, чуть солнце встало, отправляться подбирать ветки в пустыне, ты работала только в доме, а когда и ходила за водой к мельнице, могла зайти к любой из соседушек поболтать. А она, вот не свезло, гнула спину под вязанками из года в год.

Она выносила все это, терпела мужа своего Зейда, который от одной к другой бегал, не задерживаясь. Вот так, Зарифа! Видно, всем матерям наказано терпеть. Только на милость Аллаха вся надежда…

И этой Шанны еще недоставало… Глаза, как у пантеры. Но кого тебе винить, Зарифа?! Ты же сама захотела, чтобы Сангяр на ней женился. А сомнения и страхи были все-таки. Теперь довольна? Уехать он хочет. С ними зовет. Куда с ними? Оставить землю родную, где наши родичи лежат? Уехать к чужакам, туда, где никого не знаешь, ну никогошеньки! А Сулейман? Кто о нем позаботится? Кто ему хлеба испечет? Его сестра носу не кажет. Хватит того, что она сделала с

бедняжкой Фаттум, матерью Абдуллы. Да будет милостив к ней Всевышний!

Как ты можешь уехать, Зарифа, ты даже за пределы аль-Авафи не выбиралась, куда там в другие страны-государства?

Все из-за тебя, Хабиб! Ты во всем виноват! Что за бред ты нес при Сангяре! С младых ногтей его портил!

У меня сердце вздрагивает, как вспоминаю твой раскатистый хохот посреди темной ночи: «Страна! Страна предков! Каких предков, Зарифа! Твои предки не отсюда. Твои предки черные. Африканцы! Вас похитили и продали!»

Напрасно было, Зарифа, объяснять ему, что тебя-то никто не похищал. Что ты родилась здесь рабыней от матери своей, невольницы. Что несвободу ты унаследовала, что тебя никто ниоткуда насильно не увозил, что аль-Авафи и есть твоя родина, что люди здесь тебе родные живут.

Но Хабиб просто ухмылялся, когда ты ему это втолковывала. Он навсегда запомнил то наполненное ужасом плавание, которое положило конец его беззаботной жизни в Мекране. Он был вторым сыном в семье, где воспитывали пятерых.

Ничего не забыл: ни местных бандитов, кото-

рые ворвались в деревню, чтобы ее разграбить, ни торговцев, белуджей и арабов, которые выкупили всех местных вдоль побережья, ни того, как вас погрузили в грязные лодчонки, как началась эпидемия, как у вас краснели и гноились глаза, как мать билась в истерике, когда остальных ее детей затолкали в другую лодку, как от оспы у нее на груди умирал младенец и как его бездыханное тельце торговцы швырнули в море.

«Да, свободные мы! Похищенные и проданные! — ревел он в ночи, ревел на рассвете, ревел на обрядах зара. — Свободные! Униженные!»

Его с матерью перепродали в аль-Батыне. Купивший их работорговец снова выставил их на продажу. И так, пока их не взял Сулейман. Мать его утирала слезы долгие годы. Жители аль-Авафи проявляли сочувствие к ее судьбе, но никто не мог отыскать остальных ее детей. А о возвращении домой и речи не шло. Пираты и разбойники поймали бы и продали их еще раз. Это уж точно!

Аззан и Луна

Аззан обхватил лицо Наджии ладонями и пропел ей касыду любви Меджнуна и Лейлы:

Стань светом ты, когда луны на небе нет.
И солнцем стань, промедлит коль рассвет.

У солнца свет лучей его прямых,
Но нет улыбки нежных уст твоих.

Днем солнце ты, а по ночам луна,
Как стан твой гибок, шея как стройна.

Глаза твои подведены сурьмой,
Что солнца свет в сравнении с тобой? [13]

Она рассмеялась: что за розы? Аззан погладил ее по щеке. Да! И она самая прекрасная из них! Эта касыда, Наджия, говорит, что любовь наша — дар Божий.

Ее женственность превращалась для него в

---

[13] Сноски: 13
Алишер Навои. Лейли и Меджнун / Перевод Г. Калашникова.

пытку. Он чувствовал, как в груди набухают чувства, от которых становится больно. Не в силах совладать с ними, он читал ей стихи. До знакомства с ней аль-Мутанабби[14], Ибн аль-Руми[15], аль-Бухтури[16], Меджнун и Лейла[17] — все эти имена были для него пустым звуком, высохшими страницами, частью скучной школьной программы. А теперь в них будто вдохнули жизнь. Наджия сопереживала бессоннице аль-Мутанабби, следовала его желаниям, как своим, и огорчалась его неудачам, как собственным. Она представляла, как аль-Бухтури сидит на берегу озера, которое он воспевал, и вглядывается в водную гладь. Часто она воображала, как Имру аль-Кайс[18] бредет один, гонимый в ночи. Их встречи с Аззаном она привыкла уже заканчи-

---

[14] Сноски: 14

Аль-Мутанабби — один из наиболее выдающихся арабских поэтов (X в.).

[15] Сноски: 15

Ибн ар-Руми — арабский поэт и писатель (IX в.).

[16] Сноски: 16

Аль-Бухтури — арабский придворный поэт-панегирист (IX в.).

[17] Сноски: 17

«Меджнун и Лейла» — трагическая история любви, популярная на Ближнем и Среднем Востоке.

[18] Сноски: 18

Имру аль-Кайс — выдающийся арабский поэт доисламской эпохи.

вать словами Имру аль-Кайса: «Сегодня хмель, а завтра думы», когда вспоминала о том, какие тяжелые хлопоты ее ждут завтрашним днем.

Но заметив, как склонен стал Аззан к поэзии созерцания и аскетизма, она решила избегать разговоров о поэтах и старалась обуздать собственные фантазии о том, как они наслаждались жизнью, как обожали неземной красоты женщин, к которым она причисляла и себя наравне с Лейлой, возлюбленной Меджнуна.

Абдулла

В детстве меня доставало то, что рослая, как минарет, сестра отца была выше Зарифы. Успокаивало только то, что Зарифа за счет широкой кости все равно казалась мощнее. Я мог закопаться головой в ее мягкие груди и заснуть на них. А когда она прижимала меня к себе, ее руки накрывали меня целиком. У тети же грудь была плоской, тощие белые пальцы увешаны золотыми кольцами, а на запястьях болтались тяжелые браслеты, которые гремели с невыносимым лязгом каждый раз, когда она тыкала кому-либо рукой в лицо, чтобы показать свое превосходство. Я и представить себе не мог, что этими руками она могла делать что-то иное, кроме как с пренебрежением раздавать направо и налево указания. Секретом для меня оставалось и то, почему она постоянно жила с нами, хотя была замужем за своим двоюродным братом по материнской линии из другого города. Она испытывала к окружающим презрение, а вся ее вежливость была напускной, скрывающей, скорее, полное равнодушие к собеседнику. Ее

отличала немногословность. Соседки заходили в дом, и она в ответ на их протянутые ладони подавала кончики скрюченных пальцев с темно-рыжими узорами из хны. Тетя приглашала их присесть, кивнув Зарифе, чтобы та несла кофе. Гостьи обменивались с ней ничего не значащими фразами, не складывающимися в душевный разговор, будто строгость ее мешала им разговориться. Пригубив кофе и надкусив финик, тетя поднималась, и они начинали собираться домой, вроде бы исполнив долг добрососедства. Само собой разумелось, что детей к нам приводить было нельзя, так как их тетя просто не переваривала.

Резкие точеные черты ее лица казались противоположностью плоскому лицу Зарифы, словно сделанному широкими мазками. Только она относилась к Зарифе как к рабыне, не признавая ее исключительности в роли нашей хозяйки, к которой в молодости благоволил отец. В те дни, когда он болел, тетка садилась напротив его двери и сторожила, чтобы Зарифа не проникла к нему в комнату.

Они с отцом относились друг к другу с подчеркнутой учтивостью, доходившей до абсурда. Здоровались по нескольку раз одними и теми же словами и никогда не предавались свободной

беседе. Только с годами я понял, насколько противоестественно они себя вели и какая жгучая взаимная ненависть накапливалась в обоих. И если с Зарифой она вела молчаливую войну, то при отце, из-за неприятия его отношений с Зарифой, тетка спускала всю злость на нас, на детей, на рабов, на не вовремя заглянувших соседей. Зарифа оправдывала ее нервозность тем, что у нее не сложилось с мужчинами, ведь она была дважды замужем за родственниками и дважды разведена. Сухая и тощая, как палка, она оказалась бесплодной. Зарифа не скрывала своего страха перед ней и, как только скончался отец, покинула «Большой дом» и уехала к Сангяру в Кувейт.

Асмаа

После трехдневной поездки в Маскат с будущим зятем и его матушкой за тканями для свадебного наряда и прочими аксессуарами Салима вернулась в аль-Авафи, недовольная покупками.

— Были варианты куда интереснее, — пожаловалась она жене муэдзина. — Асмаа заслуживает лучшего. Но Аззан, Аллах ему судья, не потребовал ничего от жениха. Сказал: «Моя дочь не товар, чтобы торговаться! Пусть сами решают!» И вот жених потратился тысячи на две риалов, не больше. Вот что значит условий своих не ставить! Мать его всю дорогу молчала, словно воды в рот набрала. Забыла, видать, как вести себя принято!

Салима разложила перед ними покупки. Асмаа, Холя, жена муэдзина, вдова судьи Юсефа, мать Нассера и еще три соседки по очереди стали ощупывать их, вертеть туда-сюда блестящие шелковые отрезы, которые в умелых руках Мийи должны были превратиться в платье с вышивкой и шаровары невесты. Салима развернула зеленое покрывало на голову, украшенное золотистыми розами, со свисающими нитями бисера всех цве-

тов радуги по краям.

Холя, не удержавшись, схватила примерить блестящие туфли на высоком каблуке, за что мать с осуждением посмотрела на нее. Разобравшись с тканями и обувью, перешли к парфюмерии. Два флакона французских духов, извлеченных Салимой из коробочки, были приобретены по настоянию матери жениха. На самом деле за такую баснословную цену можно было взять еще и баночку настоящих арабских масел.

— Ты помешана на них, Салима! — засмеялась жена муэдзина. — И того довольно невесте будет.

— Невесту обязательно умастить надо, — заявила со всей серьезностью Салима. — Посмотри, вот купила сама два вида благовоний — один из Камбоджи, другой из Саляли. Холя! Неси уголь! Попробуем-ка разжечь!

Холя побежала на кухню. Асмаа же заметила:

— Но они быстро испаряются, мама. Лучше б духов побольше взяла.

Открывая шкатулку с золотыми украшениями, Салима ответила:

— Молчи! Ничего не смыслишь! Все невесту обкуривают! А то позора не оберемся!

Глаза у женщин при виде переливов золота

загорелись. Добротная цепочка, ожерелье из нескольких ниток, кольца и печатки с камнями, перстенек с бриллиантом, подарок от свекрови, одни браслеты тонкой работы, другие широкие, с шипами.

— А в наши дни, — сказала одна из соседок, — украшения были только из серебра. Но, слава Богу, времена меняются!

— Верно! — отозвалась другая. — Только серебро мы знали. Но сколько было изящных вещей — браслеты на ноги, сережки в нос.

Салима вскипела:

— Сегодня девушки такое уже не носят!

— Еще бы! — отозвалась Асмаа. — Я нипочем не нацеплю на ноги эти дребезжащие кандалы.

Она стала с интересом перебирать горсть золота, купленного матерью на свадьбу, и, вытащив браслеты с шипами, улыбнулась, вспомнив, что вышло с этими традиционными украшениями у вдовы судьи Юсефа. Тогда их ковали из серебра и изредка покрывали тончайшим золотым напылением. Марьям, вдова судьи, сама рассказывала Асмаа:

— Клянусь, была я не старше четырнадцати. Ко мне пришла мать, ныне покойная, да помилует ее Аллах, и сказала: «Вставай, Марьям, вымой-

ся как следует, надень вот эти новые одежды, вот браслеты, серебряная цепочка». — «Мама, зачем?!» — спросила я ее. «Сегодня выходишь замуж за судью Юсефа», — отрезала она. Я рыдала так, что веки распухли, но на меня никто не обращал внимания. А к вечеру пришли с песнопениями женщины и отвели меня к судье. На пороге мать разбила об мою ногу яйцо и прошептала: «Смотри, Марьям, не дай Бог мужчина поймет, что ты готова лечь с ним, защищай честь нашей семьи, высоко держи себя! Браслетами этими его коли. Только не отдавайся сразу». Я, Асмаа, целый месяц, как мать наказывала, сопротивлялась. А он все: «Марьям, дорогая, любимая… Марьюма, ну как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» А я браслеты с руки не снимала и тыкала их ему в лицо, стоило ему подойти поближе. Да будет милостив к нему Аллах на том свете! Эх, как начитан был отец Абдель Рахмана, как религиозен! Как нежен со мной был! «Марьюма! Я с тобой только поговорить хочу… Чего ты на меня ощетинилась? Остынь, поговори со мной. Зачем визжать так и царапаться? Если я тебе не мил, я не стану навязываться. Я не хочу тебе зло причинять. В чем дело, Марьям? Тебя заставили замуж пойти? Я тебе противен? А, Марьюм?» Клянусь,

Асмаа, не было и в помине у меня таких мыслей. Он лучше ко мне относился, чем родители, чем братья мои. Все законы Всевышнего соблюдал. Да покоится он с миром! Да дело было в том, что я продолжала выполнять указания матери!

— Целый месяц! — рассмеялась Асмаа.

— Да! Представь! — Марьям замахала руками. — Но потом случилось то, что нам было предписано… Он был такой понимающий, обходительный человек. А я девчушка мелкая! Кого мне было держаться в этом мире? А предначертан нам судьбой был Абдель Рахман с его братьями. Да упокоится душа их отца! Терпел меня, терпел. Я каждые два дня без причины домой к себе бегала, а он мне повторял: «Ты, Марьюм, жена мне на этом свете и на том! Как Аиша, да будет доволен ею Аллах, нашему Пророку! Да помолится за него Аллах и приветствует его!» Он умер молодым, Асмаа. Всегда лучших Аллах забирает к себе раньше срока. Такие всегда уходят в расцвете сил. Люди не оставляли меня в покое: «Какие твои годы, Марьям! Смотри, сколько живых мужчин ходит, а ты все о покойнике думаешь!» А как я за другого выйду? Он же сказал мне: «Ты моя жена, Марьюм, на этом свете и на том!»

Холя внесла горящие угли, Салима просыпала

на них крошки благовоний, те заискрились, и она принялась окуривать смущенных соседок, запуская дым им под платье. Если хозяйка благоволила к гостье, то струйки выходили у нее из рукавов. А если недолюбливала — дымок рассеивался у нее где-то в складках одежды. Они заголосили:

— Вот мы невезучие! Только у жены муэдзина дым валом из рукавов!

На глазах у соседок Салима выложила вышитые чехлы для подушек и развернула коврики, которые купила у иранца после нелегкого торга. Холя наклонилась к сестре и тихонько заметила:

— Сестра! Недостача! Ни ночной рубашки, ни макияжа.

Асмаа подмигнула.

— Успеем до свадьбы!

Салима демонстрировала гостьям вместительный сундук, который заказывала у самого именитого торговца Матраха по своим меркам и лично выбранному декору, с позолоченным замочком.

— Но сейчас все покупают гарнитуры с кроватью, шкафами и прочим, — вмешалась Холя.

— Да простит тебя Аллах! Невеста без сундука не невеста, — ответила ей жена муэдзина. — Сундук, он аромат благовоний годами держит! Не то

что ваши шкафы.

Перед уходом гостий Салима преподнесла им по платку из той сотни, которую купила, чтобы раздать всем без исключения женщинам аль-Авафи.

Абдулла

Как только я ударил Салема, меня охватило омерзительное чувство, что я уподобился собственному отцу. Пару дней спустя Мийя сказала, что Салем был вовсе не пьян, а на самом деле пережил сильное потрясение.

Салем припозднился в компании друзей в одной из кафешек аль-Курума. Грохотала музыка, посетители стали уже расходиться. Он продолжал потягивать лимонный сок с мятой, как вдруг на его столик кто-то положил руку. Длинные, ярко крашенные ногти. Салем поднял голову. Перед ним стоял парень с подведенными глазами. Одетый в черную рубашку от Версаче и джинсы от Армани парень прошептал:

— Ты ранил мое сердце с первого взгляда!

Салем не выпускал из рук стакана с соком, однако его трясло. Парень склонился и выложил перед ним на стол вычурную визитку с номером телефона, но без имени.

Салем не шелохнулся. Куда запропастились его приятели? Сели где-то играть в карты?

Парень все нависал над ним, вздыхая и подо-

двигая свою визитку.

— Вали! Вали отсюда! — не выдержал Салем.

— Знаю, что у тебя на уме. Думаешь, я и мизинца твоего не стою, — зашептал парень. — Боже, боже, любимый мой… Только подумай, какой огонь меня сжигает изнутри. Пожалей меня, ну же!

Когда Салем возвращался из центра, парень ехал на своем «Порше» за ним. Чтобы оторваться, Салем долго мотался по узким улочкам и только потом отправился домой.

Шел второй час ночи. Я ждал его в зале, замахнулся и как ошпаренный заорал:

— Еще не ложился?! Ослушаться вздумал!

Паучиха

25 сентября 1926 года Паучиху, прозванную Бамбучиной, в пустыне, пока она собирала сухие ветки, застали схватки. И в тот самый момент, когда она ржавым ножом перерезала пуповину дочери, отделяя дитя от себя, в Женеве подписывали Конвенцию об отмене рабства и признании торговли живым товаром преступлением. Она и не догадывалась о существовании Женевы, равно как не знала о том, что в этот день ей самой исполнилось шестнадцать.

Паучиха стянула с головы пыльный платок, разодрала его надвое, в один кусок завернула новорожденную, другим подпоясалась сама и направилась босая, с непокрытой головой обратно в аль-Авафи, в дом шейха Саида, с еще одной нахлебницей. На пороге ее подхватили женщины и ввели в дом. Она опустилась на циновку, наблюдая за тем, как ребенку в рот выдавливают сладкую мякоть финика. Когда же девочку положили с ней рядом и Паучиха взглянула на это маленькое морщинистое тельце, завернутое в рваный платок, она расплакалась. Это был ее

единственный не продырявленный и не зацепленный ветками платок. Белый — его она не окрашивала индиго, — но очень крепкого кручения. Он хоть и был кое-где испачкан, но все равно считался новым. Теперь и он испорчен.

Неделю спустя шейх объявил, что девочку будут звать Зарифой, но из-за того, что урожай фиников у него пропал, барана он в жертву в честь рождения ребенка приносить не будет.

А через шестнадцать лет он продаст ее торговцу Сулейману. Зарифа станет его рабыней, его наложницей и возлюбленной, единственной женщиной, которая достучится до его сердца. Он же станет для нее единственным мужчиной, которого она полюбит и перед которым будет благоговеть до самой смерти. Он избавит ее от унижений отпрысков шейха Саида, будет защищать от Хабиба, с которым вместе с телесными наслаждениями она впервые испытала на себе жестокость и ревность, а затем испустит дух в ее объятиях.

Абдулла

Поначалу Зайед заезжал в аль-Авафи по пятницам, привозя с собой столько ящиков фруктов, что их приходилось раздавать соседям. Он, важничая, не снимал с себя военную форму, даже когда ходил послушать, как Сувейд играет на уде. Но в тот момент, когда на поминках Зейда его обнесли кофе и он вынужден был сам подойти и налить, он понял, что для всех он так и остался сыном попрошайки Манина, что люди верят прошлому и не доверяют будущему. Зайед наведывался к отцу все реже, а после того как привел ему служанку-индуску, навещал его уже только по большим праздникам.

Через несколько лет после убийства его отца мы неожиданно узнали, что он женился. Ноги его не было больше в аль-Авафи, но взял он в жены вторую дочку Хафизы, самую красивую из ее девочек. Свадьба, на которой со всего аль-Авафи присутствовали только невеста, ее мать и сестры, гремела в столичной гостинице «Шератон».

Хафизе не было и семнадцати, когда она в первый раз забеременела. Мать схватила ее за

космы и оттаскала как следует, на что соседки с ехидством заметили, что девка пошла в родню и шкуркой, и натуркой. Мать отстала от нее, но когда Хафиза разродилась ребенком намного смуглее, чем она сама, снова набросилась на нее с расспросами, кто же отец. Но Хафиза твердила одно: «Я же говорю, если не Заатар, то Мархун или Хабиб». Мать качала головой и отходила в сторону. Через сорок дней после родов судья Юсеф постановил высечь Хафизу, определив ей сто ударов плетью. Мать обернула ее простыней, натянула на нее холщовые штаны, надела несколько старых рубашек, под которые напихала тряпки, чтобы смягчить удары хлыста, и сама пробралась в толпу смотреть, как будут исполнять наказание. Однако не прошло и двух лет, как Хафиза опять забеременела и на этот раз принесла девочку белее белого. К тому времени дела изменились: судья вынужден был подчиняться султану, хотя сам продолжал считать, что служить надо имаму, свергнутому в результате схватки за власть и бежавшему из Омана. Высечь негодницу уже было нельзя, поэтому предложили отправить ее в тюрьму, но исполнением приказа никто заниматься не стал. В деревне перешептывались, что девочка-то смахивает на младшего

сына шейха Саида. Но и на этот раз Хафиза не могла уверенно указать на отца ребенка, за что получила прозвище «общественный драндулет». Еще через три года она родила девочку, точную свою копию, и это был ее последний ребенок, после рождения которого она стала пачками пить противозачаточные.

Ты заснул? Пить не хочешь? Зарифа всегда переживала, что я лягу спать и во сне меня замучает жажда. Она пугала, что душа вылетит из тела в поисках воды и потом не найдет дорогу обратно. Поэтому я вливал в себя на ночь по два-три стакана, памятуя страшную историю о том, как у одного человека душа вылетела ночью к кастрюле с водой, крышка случайно захлопнулась, и очнулся он, когда его несли на кладбище, благодаря тому, что кто-то по надобности приподнял крышку.

После того как за кражу винтовки, которую я взял на охоту да так и не опробовал, отец связал меня по рукам и ногам и макнул в колодец, я, терзаемый кошмарами, перестал пить перед сном.

В конце концов Масуда сдалась и рассказала мне о матери.

— Абдулла, мальчик мой! Как говорят, что ночью демоны творят, Бог не зрит. Мать твоя ис-

тинно в раю пребывает! Она шла ночью и бросала камушки, сама не зная, куда попадет. И задела, видно, голову детеныша джинна. Джинн явился к ней и приказал: «Срежь во дворе куст базилика! Его аромат притягивает змей! Твой сын вырастет, будет там играть, и его ужалит змея!» И мать твоя, наивная женщина, не догадываясь, с кем имеет дело, поверила и сделала как сказали. На рассвете она выкорчевала куст, но дух, который жил под ним, разозлился и наслал на нее недуг. Ее как подкосило, пролежала два или три дня и отошла в мир иной. Аллах отвел ее в рай!

А когда я возмужал и отпихнул от себя полезшую соблазнять меня Шанну, она поднялась с земли, отряхнулась и прокричала:

— Мать твоя не умерла! Жива она! Ее заколдовали и увезли! Вместо нее подложили бревно! Твой отец хоронил бревно! Твоя мать не в себе! Колдун лишил ее разума и заставил себе прислуживать. Отец мой видел, как она в белом по ночам бродит!

Салима

Как только приданое дочери было собрано, Салима закрылась в своей комнате и разрыдалась. Внезапно в ней пробудилась тоска по родителям.

Салима родила Холю, младшую из дочерей, когда матери уже не было в живых. Однако, в сущности, ее не стало задолго до этого, лет за десять. В тот день, когда кто-то пришел и принес новость, что ее единственный сын Муаз погиб в бою за аль-Джабаль аль-Ахдар[19]. Она так и не попрощалась с ним.

Муазу не исполнилось и семнадцати, как он сбежал из дома дяди, шейха Саида, чуть рассудка от этого не лишившегося. У шейха было нехорошее предчувствие, что парень выйдет из повиновения и примкнет к перешедшим на сторону имама племенам, которые ввяжутся в бой против него с соратниками. Везде прилюдно шейх объявлял, что не виноват и не в ответе за племянника. Всем имеющим уши он твердил: «Неужели этот дурачок думает, что укрылись они на горе с имамом и британские бомбардировщи-

---

[19] Сноски: 19
Аль-Джабаль аль-Ахдар — горная система в Омане.

ки их не достанут? У англичан оружие, самолеты и невесть еще что припасено!»

Соглашение в ас-Сибе, по которому Оман делился на внутренний Оман под управлением имама и Маскат с побережьем под властью султана, заручившегося поддержкой англичан, было подписано в 1920 году. Стороны соблюдали условия, под которыми подписались, до тех пор пока султан не заключил договор с британской компанией по поводу разведки нефти на пустынной территории Фухуд, относившейся формально к имамату. Компания тут же сформировала армию для собственной охраны, которая получила название «Пехота Маската и Омана». Алчность колонизаторов привела к тому, что фитиль войны вспыхнул, стоило солдатам переступить границы Ибри. Низву и Нахаль забросали бомбами, и в 1955 году имам Галеб аль-Хинаи был вытеснен со своими сторонниками из многочисленных племен к аль-Джабаль аль-Ахдар, где вынужден был обороняться. Муаз, познав, что случилось, покинул аль-Авафи и примкнул к защитникам. Там он оставался до конца 1959 года под обстрелами самолетов британской короны, имея при себе лишь примитивное снаряжение. Они прибегали к вылазкам небольшими отря-

дами и блокировали дороги, ведущие в город. Задача Муаза заключалась в том, чтобы разводить костры в случайных местах, вводя таким образом в заблуждение английских солдат, которые обстреливали пустоту, напрасно расходуя боеприпасы. Но однажды, возвращаясь ночью в лагерь, он наступил на мину, его разорвало в клочья, и он стал одним из двух тысяч погибших в боях за аль-Джабаль аль-Ахдар.

Весть о смерти сына мать приняла с отрешенным спокойствием и объявила траур, устроив поминки на собственные скромные средства, после того как дядя отказался даже принимать соболезнования. Она тихо умирала день за днем в течение десяти лет. Дышала, пила, ела, отвечала что-то, но внутри была мертва. Она ходила меж людей, будучи вовсе не с нами, пока тело ее не сдалось вслед за уже умершим духом и не прекратило притворяться, изображая подобие жизни.

Абдулла

Голову мою как в воду макнули. Боли внезапно настигают меня при перелетах. Картинка расплывается, вижу все через мутное стекло, будто я опять перевернут вверх тормашками и меня, обмотанного толстым джутом, погружают в темноту. Ударяюсь лбом о стенки колодца, не видя их, и с ужасом думаю о том, что будет, если веревка порвется и я полечу на дно. Зачем я выкрал винтовку? Хотел полакомиться сороками? В глазах мелькают цветные кубики из пластика, которыми играет Мухаммед. Он складывает их плотно друг к другу, не оставляя щелей, и начинает дико визжать, если попробовать поменять их местами. Крик! Крик! Крик жены моего дяди Исхака, когда я, будучи у них в гостях в Вади Удей, отлучился в ванную, чтобы совершить омовение перед утренней молитвой, разорвал тишину. Она обнаружила Марвана-Тахера. Он перерезал вены кинжалом отца. Как кричала, как выла Зарифа, когда отец скончался в больнице! Я никогда не кричал, только когда меня спускали в колодец.

Я вижу себя ребенком. Сбоку на поясе висит

кинжал, как у взрослого. По-нарядному на голове завязан мусар. Новые сандалии. Отец берет меня за руку. Мы едем куда-то далеко, в Ибри, по приглашению шейха. Хабиб с нами. Он еще не сбежал. Тут же Сувейд и бедуин, который доставляет нас на место на двух верблюдицах. У Сувейда нет при себе инструмента. Наверное, тогда он еще не играл. Еще не овладел им этот демон, заставлявший до самозабвения предаваться игре на уде. О! Волшебный уд! Под него я грустил в детстве и переживал одиночество в отрочестве. Уд его был не чем иным, как даром джиннов! Но тогда с ним был не уд, а сверток с вяленой рыбой и луком, коробка фиников да фляга с водой. Кругом пески. Мы поем. Хабиб пел на незнакомом языке. Наверное, это был белуджи. Грустная песня, прерываемая плачем в припеве. Перед исчезновением он признался Зарифе, что на родном языке помнит только слова песен. Поэтому, если он не пел, ходил сердитым.

Я ребенок, одетый по-взрослому, при полном параде. Единственный наследник отца, представляющий его потомство перед шейхом Ибри. На рынке я с детской наивностью пялился на разложенные на лотках горы кокосов, но на обеде в обществе взрослых предстал уже мужчиной.

Я присел, как они, вытянув одну ногу и поджав под себя другую. И как бы ни немели у меня конечности, я изо всех сил держал позу. Я десять раз тянул руку к огромному подносу и клал в рот лишь жалкую горстку риса. На одиннадцатый раз я притронулся к одному из кусочков мяса, брошенных поверх риса. Я взял самый маленький кусок, опасаясь укора отца. Когда поднос убрали, я был все еще голоден, но счастлив, так как отец остался мной доволен. Члены семьи шейха, его соседи и слуги ждали остатки с нашего подноса…

Я вынырнул. Туман в голове рассеялся. Долго искать землю между Маскатом и ас-Сибом, на которой Мийя построила бы дом своей мечты, не пришлось. Но тот участок, на который она положила глаз, в муниципалитете наотрез отказались передавать нам в собственность. Здесь в ближайшем будущем должны были проложить скоростное шоссе по плану, утвержденному самим кабинетом министров. Голова сейчас расколется от давления! Что ж я не беру, как все, в самолет таблетки от головной боли?

Я тянусь за куском мяса после того, как набил живот рисом. Отец смотрит на меня с одобрением. По дороге обратно меня чуть не ужалила змея.

Меня спас отец, ударив по ней с размаху своей палкой. Он наконец крепко прижимает меня к себе, а я с широко открытыми глазами вдыхаю запах его дишдаши и наблюдаю, как с ночного неба падают звездочки, бриллиантами оседая на его головном уборе.

До этого я никогда не бывал на рынке. Единственная лавчонка в аль-Авафи да разложенные наскоро на досках сладости в дни праздников перед залом для молитв — это все, что я видел. В Ибри же рынок представлял собой выстроенные друг напротив друга два ряда лавок. Вход в каждую продавец украшал на свой лад, выставляя на обозрение отборный товар — разнокалиберные яркие коробки с финиками, специями, пряностями, сушеными лимонами, перцем и зерном. Перед некоторыми из торговцев красовались подносы с нарезанной кусочками и засахаренной мякотью кокоса, которые необъяснимым образом настолько притягивали меня, что по сей день оманский рынок остается связанным в моем сознании с этими сладостями. Я зажмуриваюсь и ясно вижу листья и стволы пальм, из которых сколочены потолочные перекрытия, соединяющие торговые ряды, и железные крючья, на которых развешаны шерстяные ковры, плете-

ные корзины, циновки, изделия из кожи. Я даже ощущаю резкий запах вяленой рыбы. Дети снуют туда-сюда. Мальчишки надели кожаные пояски, на которые вскорости нацепят кривые кинжалы и будут ими щеголять. Кто-то из торговцев делится последними новостями, другие с безразличием оглядывают прохожих. Я до сих пор вспоминаю богатую палитру сказочно-красного на их чалмах, неповторимую смесь ароматов и эти сладкие кубики кокоса.

В проходе перед лавкой, с прямой спиной, подстелив под стульчик коврик, работает цирюльник, при мусаре и кинжале, с засученными рукавами. На расстоянии, достаточном для того, чтобы можно было слегка наклониться, перед ним садится клиент. Он доверяет свою голову улыбающемуся мастеру, и на голую землю сыплются остриженные волосы. Инструменты и небольшой флакончик с водой, из которого мастер опрыскивает клиента, разложены на крышке старого деревянного сундука. Те из цирюльников, кто не имеет никакого опыта, просто бреют клиентов налысо.

Я почему-то отчетливо ощутил все эти запахи заново, когда мы с Мийей увидели, что на том клочке земли, который она выбрала и который

нам отказался продать муниципалитет, этаж за этажом поднимается чей-то дворец. Мийя со злостью проговорила: «Продали-таки землю! Конечно, у них план за подписью министров! Это сколько надо было заплатить, чтобы развернуть шоссе и воткнуть такой домище?!» Я ничего не ответил, меня окутывал туман ароматов рынка Ибри.

Ох, эта головная боль! Когда я был маленьким, отец избавлял меня от нее, просто приложив ко лбу свою ладонь. Он повторял: «Ему принадлежит все, что на небе и на земле», — и боль будто высасывалась. Но в больнице этой рукой со вздутыми от уколов венами он уже не мог пошевелить, и мою потеющую голову будто тисками сжимало.

Вены на руке Билла, учителя английского языка, за сплошными веснушками с трудом можно было разглядеть. Это он убедил меня в необходимости подтянуть английский. На одном из вечеров, устроенном местным бизнесменом, он обратился ко мне на правильном арабском языке: «Как? Вы занимаетесь бизнесом и не знаете английского? Да вы без него ни в один столичный ресторан не сможете войти!» Он был прав. Я всегда оказывался в неловкой ситуации, когда бронировал номер в отеле, на званых ужинах в

ресторанах, да и в клинике надо было понимать по-английски, чтобы получить лечение.

Я стал брать у него частные уроки. Он смотрел на меня голубыми глазами, настолько прозрачными, что в них ничего не отражалось. Но улыбка его говорила об остром уме. До знакомства с ним я и не подозревал, что улыбка может показывать, насколько человек даровит. Когда Билл расплывался в улыбке, я не мог не чувствовать его ум и прозорливость.

Отец же совсем не улыбался, ну разве что в исключительных случаях. В эти редкие моменты у меня на сердце становилось спокойнее. Однако огонек в его глазах, в которых светилась какая-то особенная сметливость, вселял в меня скорее страх. Мне неведом ум такого рода. Сколько бы я ни учился, я до него не дорасту. Я навсегда останусь по сравнению с ним тщеславным мальчишкой, которому торговля не по зубам. Его улыбку и огонек его глаз я напрасно искал в своих детях. Лондон? Возможно. Если бы она не вляпалась в эту историю с Ахмедом! Ну вот, опять я от гнева задыхаюсь! Когда Мийя прочитала в телефоне их переписку, швырнула мобильный дочери о стену, закрылась с ней в комнате и отходила ее так, как никогда никого не била. Она ждала, что

Лондон отступится, но та упорствовала в своей любви. Что же я до сих пор не успокоюсь? Разве со всем этим не покончено? Мучает ли меня то, что я уступил ей и дал согласие на брак? Или меня терзает то, что я с самого начала не встал на ее сторону? Или что я стал упрекать ее в тот момент, когда она потерпела крах? Или то, что он издевался над ней? Или то, что Мийе было неизвестно чувство, которое пережила Лондон, когда влюбилась?

Неужели ты так и не познала любви, Мийя? Неужели ты не чувствовала, как я кружил вокруг вашего дома, словно паломник вокруг Каабы? Казалось, что стены не выдержат того напора эмоций, той любви, которую я посылал в твою сторону, и дом рухнет или балкон обрушится. Казалось, что воздух вокруг зазвенит от напряжения. Но все оставалось на своих местах… Даже дверь, к которой я припал, как пригвожденный пулей животрепещущей любви, не поддалась, не сдвинулась с места… Только я перестал понимать, где мое место! Стекла не треснули оттого, что я бился в них своими крыльями. Ты сидела за швейной машинкой, Мийя, и ничего не видела.

Асмаа

Первое, о чем подумала Асмаа, открыв глаза спросонья, — что сегодня день ее свадьбы. Она недолго понежилась в постели, провела рукой по животу и улыбнулась от мысли о том, как округлится ее живот через несколько месяцев. Сложив аккуратно пижаму и плед на спинке кровати, она направилась прямиком на кухню, чтобы сварить родителям кофе, который они так любили пить сразу после утренней молитвы.

У входа в кухню, на старой ступеньке с выбоиной, сидела мать. Асмаа оторопела, увидев ее рассеянной, ведь мать никогда не теряла самообладания и не витала в облаках. Она тихим голосом поздоровалась. На плите уже закипал кофе, рядом с термосом были отложены и забыты зерна кардамона. Что-то было не так, но Асмаа не догадывалась, в чем дело.

Отец, как обычно, выпил две чашки, потом пристально посмотрел на нее, пока пережевывал финики. В его взгляде сквозил молчаливый упрек, поэтому она начала чувствовать за собой вину, но за что, так и оставалось для нее загад-

кой.

После она закрылась в комнате, как приказала мать, потому что невесту до свадьбы никто не должен видеть. Мийя провела взаперти целую неделю до свадьбы, даже соседкам умудрилась не попасться на глаза. Асмаа вздохнула: хорошо еще, что мать не настаивала на недельном заключении и для нее. Не выпускала из дома? Асмаа и так почти не выходит. Смешно. Зачем все это? Чтобы ощутить вкус свободы после свадьбы? Да, она будет считаться женщиной, сможет крутиться во взрослом обществе, отлучаться по делам, принимать приглашения на все свадьбы и банкеты, как бы далеко от дома они ни проходили.

Асмаа присоединится к женским утренним и вечерним посиделкам с кофе. Ее будут звать на обеды и ужины, она также вольна будет принимать гостей у себя дома. Она станет настоящей женщиной, а не девчонкой. Брак — вот пропуск в эту жизнь, пропуск в больший мир, за стены дома.

Еще пару лет назад надо было искать повод, чтобы вырваться с подружками на прогулку. В сезон сбора фиников они ранним утром шли на делянки аль-Авафи и обходили их, наблюдая за тем, как урожай сортируют и раскладывают.

Они перекидывались незрелыми красноватыми плодами, плескали друг в друга водой из каналов, соединявших участки между собой. Потоки пускали попеременно то на одни посадки, то на другие по договоренности, следя за тем, чтобы не расходовать воду почем зря и чтобы всем доставалось по справедливости. Но самое интересное ждало их вечером на площади за пальмами, где собирались для варки фагора[20]. Асмаа в изумление приводили горы неспелых фиников, которые засыпали в котлы с кипящей водой. Она спорила с подружками, в каком из них фагор будет готов первым. Мужчины доставали варево из котлов с помощью черпаков из пальмовых листьев, раскладывали на просушку в солнечное место, а затем все это увозили грузовики, так как урожай выкупало правительство, отправлявшее потом товар на экспорт в Индию. Асмаа не нравился фагор, она ела только желтые или самые спелые темно-коричневые финики. Да и сами жители только пробовали его на вкус. Их пищей считались именно перезревшие ягоды. Весь день Асмаа играла с девочками, бегала, карабкалась на невысокие пальмы, качалась на качелях, ко-

[20] Сноски: 20
Фагор — неспелый финик.

торые сооружали из троса, натягивая его между двух стволов, подзадоривала женщин, которые, перебрав кучи фиников, вечером уходили с ними в корзинах на головах. Девчонки кормили скот либо срывали траву, набивали ее по мешкам и выменивали их тут же у хозяев животных на монетки. Асмаа помнила, как мешок у Фатимы продырявился и за ней потянулся травяной след, а потом подружки еще долго дразнили ее. Но сейчас Асмаа уже взрослая и не ходит на сбор урожая.

Она не выходит за ворота даже в первые дни хаджа, чтобы спеть с соседками:

Мухаммед спустился в долину,
Мухаммед спустился в рай,
Закончили мы молитву,
Пророку хвалу воздавай!

Как только день стал клониться к закату, дом наполнился шумом высоких и тоненьких голосов. Женщины пришли, чтобы помочь доставить приданое Асмаа в дом жениха. В пикап, взятый Иссой в аренду у бедуина, погрузили две сумки с добром Асмаа, большой сундук, расшитые подушки и два персидских ковра. В первой сумке был ее свадебный наряд, а во второй — ничего, кроме

стеклянного флакончика французских духов, арабских масел и благовоний. Но мать настояла на том, чтобы была и вторая сумка, так приданое смотрелось побогаче.

Мийя с другими женщинами направилась в новый дом Асмаа, чтобы помочь ей там устроиться. Сама же невеста с Холей и соседками, которые делали ей татуировки хной, оставалась пока в своей комнате. Мысли Асмаа метались от материнства к новым одеждам, от разлуки с родным домом к суженому Халеду.

Асмаа читала отцу, а порой он и сам декламировал любовную лирику. Особенно в зимние дни им нравилось погрузиться в поэзию аль-Мутанабби. Стихами о пылких чувствах он увлекался еще больше, чем дочь. Даже на каких-то местах в дешевых романах, купленных ее подругой в маленьком книжном в Маскате, которые она быстро пробегала, он останавливался, чтобы насладиться. Ей же казалось, что это чтиво, завезенное из столицы, рассказывает о чужой и далекой, какой-то нереальной жизни. Последний роман, который она взялась читать, был озаглавлен как «Тайники дворца». События разворачивались во Франции XVIII века: любовные страсти королевских особ, с интригами, изменами и маленькими

победами. С первых же страниц она нашла сюжет надуманным и взяла другую книгу. Единственный текст, который тронул ее до глубины души так, что, до конца не понимая смысла, она заучила отрывок из него наизусть, — это легенда о разъединенных душах, заключенных в мерцающие шары, которые стремятся слиться воедино. Так она представляла себе любовь — как столкновение родственных душ. Она и не мечтала, что испытает в жизни страсть, от пламени которой ночь будет казаться такой же длинной, как в касыдах аль-Мутанабби, и так же наполнится тяжелыми раздумьями, как у Имру аль-Кайса. Она мечтала выйти замуж за исключительного человека, не похожего на остальных, полюбить его, обрести в нем опору и стать матерью.

Но сердце не трепетало. Почему оно не впускает в себя Халеда? Неужели потому что она заглядывалась на Марвана, двоюродного брата мужа Мийи? Потому что приняла было его за человека с чистейшей душой? Он был весь в белом, немногословен. Его загадочность только распаляла девичье воображение. Асмаа понимала, что тех считаных минут, что она видела его, мало. И когда наступил праздник и он появился у них с поздравлениями, она не упустила возможности

всмотреться в него получше. Она заглянула ему прямо в глаза и пришла в замешательство, сама не в состоянии объяснить из-за чего. Ей померещилось, что под его внешней невозмутимостью прячется нечто ужасное, и она бросила думать о нем.

Халед! Халед! Халед! Художник, воспевающий мир лошадей. Не такой, как все, как она и мечтала. Отец его получил прозвище «мигрант», когда после поражения имама Галеба аль-Хинаи в сражении за аль-Джабаль аль-Ахдар в 1959 году уехал в Египет. Так же поступили почти две тысячи оманских семей, опасавшихся жестокой расправы англичан. Со своим небольшим семейством Исса обосновался в Каире, Халед и Али пошли там в школу, затем родилась Галия. А когда в семидесятые годы новое правительство объявило о народном примирении и призвало беженцев участвовать в возрождении единого Омана, Исса отказался от возвращения наотрез и остался в чужой стране.

Галия долго болела и умерла, и мать настояла на том, чтобы предать ее тело земле в аль-Авафи. Халед как раз окончил факультет изящных искусств и вернулся с родителями в страну, откуда его увезли еще мальчишкой. Али же оставался

в Каире, продолжая там учебу, и только потом воссоединился с семьей в Омане, не сохранив о нем практически никаких детских воспоминаний. И вот они приходят к ним в дом сватать Асмаа и Холю.

Их семьи связывают дальние родственные узы, но убедительные для того, чтобы приходить друг к другу на праздники с поздравлениями. Асмаа видела Халеда несколько раз и обменялась с ним парой слов. Разглядела также его работы, когда однажды мать позволила ей вместе с ней зайти к ним в гости. Ее поразило: какое огромное количество картин, и все посвящены одной теме — лошадям.

Натянутые мышцы у гарцевавших на его полотнах скакунов были прорисованы с изумительной точностью. Их копыта практически не касались земли, будто они вот-вот воспарят. Асмаа рассматривала картины с плохо скрываемой тревогой — ей хотелось, чтобы животное опустилось на твердь и ровно встало на ноги. Годы спустя с его полотен уйдет вся легкость, хрупкость и ощущение мимолетности жизни, он станет рисовать босых женщин, ступающих по земле своими тяжелыми ногами, и воспевать связь человека с землей, традиции рода, размеренное течение

жизни и незыблемость устоев.

Исса не ходил вокруг да около, прямо заявив Аззану: «Мы хотим, чтобы Асмаа и Холя стали нашими снохами. Они будут жить с нами в Маскате. Кто познал каирскую суету, не свыкнется с такой деревней, как аль-Авафи».

Переезд в столицу означал для Асмаа, что она сможет окончить старшие классы, а в перспективе поступить в университет, который, как говорили, сейчас строится полным ходом. Какой факультет выбрать? Главное, учиться. Она будет учиться!

Мать рассказывала ей о ее деде, шейхе Масуде, оставившем им в наследство библиотеку, каким смышленым и жадным до знаний он рос. Уже юношей он пытался поступить в школу «Ас-Саидийя» в Маскате, но отец предостерег его от соблазнов и опасностей столицы. Поэтому он учился у имамов и толкователей священных текстов, следуя за ними из Низвы в Рустак[21], но вместе с тем не предавая свою мечту о современном образовании.

Уже в зрелом возрасте он загорелся идеей

[21] Сноски: 21

Низва и Рустак — крупнейшие старинные города внутреннего Омана, центры религии и образования, в них в разные исторические периоды размещались резиденции оманских имамов.

открыть школу в одном из прибрежных городов; с единомышленниками они выбрали Сур. Чертили планы помещений, приобретали оборудование, уже заложили первый камень в основание, как пришло распоряжение свыше прекратить все работы. В сороковые годы сама мысль обучать оманцев наукам пугала власти. Они тогда заявили союзникам-англичанам: «Дать оманцам образование, как вы дали образование индийцам, восставшим против вас же? Глазом моргнуть не успеете, как они вас погонят из своей страны!» Так был закрыт проект школы в Суре, и шейх Масуд заперся навсегда у себя в кабинете с книгами, привезенными из Индии, Сирии и Египта.

«Он горел жаждой знаний!» — воскликнула Асмаа, слушая мать. Через десятки лет этот же огонь, перебросившийся через поколение, затеплился и в ней.

Салима

Когда автомобиль с приданым Асмаа отъехал от дома, мать, обессилев, опустилась на пол в зале. Ее одолевал голод, всплыли воспоминания детства. Она росла за высокими стенами дядиного дома во дворе за кухней, лишенная ласки. Не стряпала, не мела, не таскала воды или дров, она не была невольницей, но ходила полуголодная, не выбирала одежд, какие нравились, и не обучалась искусству вышивания бисером. Шейх Саид не заменил ей отца, так и оставшись для нее навсегда дядькой. Ей не дозволялось выходить за ворота и играть с соседскими девочками. Не разрешалось пересмеиваться во время купания в канале. Нельзя было танцевать на свадьбах, как это делали дочки рабынь. Она даже не могла раздобыть клочки старой ткани, чтобы сшить из них наряд для куклы. У нее не было никаких украшений. За столом ей не давали сладости, как отпрыскам шейха. Она просто просидела все детство, прислонившись к стене кухни и наблюдая за тем, как свободно могли танцевать и веселиться рабыни, как свободно могли распоряжаться

в доме, надевать, что нравится, и, не спрашивая никого, наносить визиты их хозяйке.

Она вспомнила, как, унижаясь, стараясь пробраться незамеченной, их с братом навещала мама. Она приходила с глазами, полными слез, обнимала их, шепча что-то невнятное, умоляла шейха отпустить детей с ней в дом ее брата.

Когда Салиме исполнилось десять, мать пришла навестить ее, но не присела, как обычно, рядом во дворе у кухни, а взяла ее за руку и повела внутрь крепости. Там она развязала краешек своего покрывала с головы, в узелке из которого были спрятаны серебряные сережки и игла. Она улыбнулась: трудно пришлось, но она заработала ей на украшение и теперь она будет не хуже дочек шейха. Салима застыла в ожидании. Мать погрузила иглу в зубчик чеснока, чтобы обеззаразить, затем воткнула ее в мочку дочери и стала пробивать дырки все выше и выше по уху, сделав их не меньше десятка. На пол прыснула кровь безропотно переносившей проколы маленькой Салимы. Сначала мать продела в дырки черные нитки, а через два дня, когда ранки зажили, она вернулась, выдернула нити и вдела вместо них кольца — начала сверху, с самого маленького, и закончила самым крупным, которое блесте-

ло теперь в мочке Салимы. Мать переполняла гордость, и Салима, понимая это, молча сносила ужасную боль от повисших тяжелым грузом серег. Уши продолжали гноиться так, что спать на боку уже было невозможно, и ей приходилось переворачиваться на живот и утыкаться подбородком в пол, тщетно пытаясь заснуть в таком положении. А когда через несколько недель воспаление спало и Салима привыкла к оттягивающим уши серьгам, она возненавидела все украшения на свете, какими бы красивыми они ни были.

Абдулла

Зарифа плюхнулась на пол, ее огромная грудь всколыхнулась, толстыми пальцами, увешанными серебряными перстнями, она содрала скотч с коробки с оманскими сладостями и принялась медленно отколупывать с них верхний слой с орешками, приговаривая: «Радость ты моя! Соблазн ты мой! Вот как не слопать?! Диабет не диабет. Да ну! Зарифе чем ни угрожай, она от сладкого не откажется!» Она подцепила лакомство всеми пятью пальцами и надавила, чтобы оторвать кусок, с таким напором, будто мстила за все годы, которые полуголодной провела в доме шейха Саида, пока ее не выкупил мой отец.

Спрячь меня, Зарифа, у себя на груди! Мне страшно. Я зароюсь головой у тебя на животе. Дай мне вдохнуть этот запах пота и супа, чтобы забыться глубоким сном.

Я боюсь, Зарифа! Отец не простит мне то, как ты умирала. Мне привиделось, что он встал из могилы, спутал меня веревкой и спрашивает о тебе, опуская головой вниз в колодец. А я кричу со дна: «Умерла она! Умерла! Через два года после

тебя!» Но он не поднимает меня наверх. Вокруг сгущается тьма.

«Клянусь Аллахом, отец! Я не знал! Переехал в Маскат, занялся бизнесом. В аль-Авафи наведывался только по праздникам. Я слышал, что она вернулась из Кувейта, что не ужилась со снохой. Говорили, что та выгнала ее из дома, что пыталась объявить ее сумасшедшей и упрятать куда-нибудь, вот Зарифа и сбежала. А кто-то считал, что она соскучилась по аль-Авафи, что на чужбине ей было плохо. Рассказывали, что во сне перед смертью она видела зовущую ее к себе мать. И Зарифа ушла за ней.

Она нашла угол у родственников. Я был занят, отец. Мы с Салехом пытались спасти активы после обрушения биржи. Я занят был! Отец! Я кружил по Маскату, метался между аль-Хувейром, аль-Губрой, аль-Хейлем, ас-Сибом. Присматривал участок земли, виллу, заключал сделки, искал врача для Мухаммеда, хотел брать уроки английского, курсы бухгалтерского учета, машину купить побольше твоего старого белого «Мерседеса», новых партнеров искал, авиабилеты, агентства, предлагающие прислугу — филиппинок и индонезиек, выбирал школу для детей, приглядывался к частным преподавателям, хотел

пригласить водителя, решал, где провести вечер с друзьями…»

Отец не торопился тянуть меня наверх.

Ну, отец! Давай! Поднимай! Хотя бы наполовину, там я сам вскарабкаюсь. Здесь темно, отец! Колодец кишит змеями. Хватит! Я не притронусь больше к твоей винтовке! Не буду водиться с Сангяром и Мархуном. Сангяр, отец, устроился грузчиком на рынке, а Шанна уборщицей в школе. Зарифа бросила их, не смогла прижиться в Кувейте.

Вытащи меня отсюда! Я вообще не хотел сорок пробовать! И с мальчишками в футбол гонять не хочу. Не буду впредь слушать дурманящие напевы Сувейда. Не закричу тебе в лицо, когда ты не в себе, что Сангяр сбежал, как сбежал его отец Хабиб. Все сбежали. Кроме меня.

Подними меня! Я не оставлю Зарифу умирать в грязной больничке, Зарифу, твою мать, твою дочь, твою любимую, твою рабыню, твою госпожу!

У нее осложнения от диабета были, отец! Понимаешь? Диабет! Ей пришлось отнять ногу. И ее родственники сказали, что калека им не нужна. Потом отняли вторую ногу. Соседи спросили: «Кто ее в туалет водить будет? Кто будет таскать

эту тушу без ног?» Они договорились с главным врачом, и он оставил ее в палате под присмотром медсестер.

Тяни, отец! Зарифа, помоги мне! Как страшно! Страшно!!!

Аззан и Луна

Аззан прижал ее к себе покрепче.

— Наджия! Луна моя! Хочу, чтобы ты была моей!

Она прошептала:

— Я и так твоя!

Он вздохнул.

— Нет… Не совсем так. Есть разница.

Она высвободилась из его объятий.

— Что значит, есть разница?

— А значит, Наджия, что те, кому не суждено быть вместе, даже вдвоем чувствуют одиночество.

Она посмотрела на него с укором.

— Ты помнишь, у Ибн ар-Руми…

— Это который тоску навевает?

Он снова приобнял ее.

— Знаешь, что он говорит?

Надежды наши – замки на песке,

В моих объятьях ты, а я уже в тоске.

К устам твоим приникну я опять,

Но страсти пламя этим не унять.

О страсть моя! Как мне тебя избыть?
Как эту жажду можно утолить?

Сольются души наши навсегда
И снизойдет покой ко мне тогда[22].

Они вдвоем вздохнули, и он добавил:

— Те, кто воспевает наслаждения от обладания — не влюбленные, душегубы они.

Наджия улыбнулась.

— Душегубы?

— Да, Наджия, — ответил он твердо. — Человек, как бы он ни любил, какое бы удовольствие ни получал от любимого, не имеет права обладать другим. Человека нельзя иметь как вещь.

На лице Наджии, которая плохо умела скрывать эмоции, проступило раздражение. Аззан своими пространными рассуждениями только испортил их теплую встречу. К чему все эти философствования об обладании? У него семья и дети, она ничего от него не требует. Она и так счастлива, не думая ни об обладании, ни о каких-то душегубах. Она хотела, чтобы он влюбился в нее, она этого добилась. Ничего большего ей не надо. Чего он сам вечно себя мучает непонятно чем?

---

[22] Сноски: 22
Перевод Г. Калашникова.

Невеста

Асмаа встала перед зеркалом, в которое всегда смотрелась Холя. На нее глядела девушка, которой нет еще и двадцати, с большими карими глазами и вздернутым носиком. Ресницы отяжелели под нанесенными на них несколькими слоями туши. Накрашенный ярко-красной помадой рот делал ее похожей на клоуна. Она рассмотрела фигуру, втиснутую в узкую дишдашу с блестками на рукавах, по груди и на шлейфе, которую выбрали для нее Салима и мать жениха, и снова случился у нее приступ беспричинной тревоги. Она перевела взгляд на узоры хны на руках и потом еще раз посмотрела на себя в зеркало. Улыбнулась и, любуясь на свою высокую грудь, вспомнила, в какую панику впала, когда обнаружила у себя первые признаки того, что превращается в женщину. Как она ненавидела эти торчащие бугорки и молилась каждый вечер перед сном, чтобы они исчезли. А потом следовала совету Мийи, которая, увидев, как сестра, стирая у мельницы белье, плачет, сказала: «Не бойся, Асмаа, это просто припухлость. Натирай солью, и все сойдет. Если

не поможет, то я дам тебе свою тесную майку, она стянет так, что ничего видно не будет, как у меня». Асмаа терла грудь солью до такой степени, что нежная кожа шелушилась, и поддевала такие узкие майки, что в них тяжело было дышать, а грудь только набухала. Наконец мать дала ей покрывало и показала, как его нужно набрасывать, чтобы прикрыть и голову, и грудь. Асмаа задышала свободно и перестала молиться, чтобы грудь исчезла.

Асмаа посмотрела на свой втянутый живот. Она не могла дождаться, когда он начнет расти. А потом, разрешившись, она будет носить ребенка снова и снова. Только в окружении десятков детей и внуков она представляла себе их с Халедом старость.

Асмаа вспомнила слово в слово строки о двух разделенных частях души и вздрогнула. Если частица не найдет свою половинку, не видать ей ни покоя, ни счастья… О чем думает сейчас Халед? Взволнован, как она? Счастлив ли? На душе неспокойно, но она с нетерпением ждет того, что они станут мужем и женой.

На закате женщины начали прибывать в дом Салимы. Они кружили над блюдами с рисом, мясом и фруктами, расставленными на скатертях,

тянущихся через весь двор. Потом ударил барабан, зазвучали песни, в круг вышли танцовщицы, к ним присоединилась Зарифа. Вскоре появилась процессия, которую возглавляла мать жениха в окружении голосящих родственниц: «Пришли за невестой! Отдайте невесту!» Свекровь направилась прямиком к тому месту, где сидела Асмаа, накрывшись зеленой шелковой накидкой. Салима подняла ее и, прежде чем вложить ее руку в руку матери жениха, крепко прижала к себе. Свекровь торжественно отвела невесту к украшенному цветами красному «Мерседесу», за рулем которого сидел сам Исса. Женщины поспешили сесть в машины, чтобы следовать за свадебным караваном, который тронулся в Маскат: жених снял там квартиру, ставшую его семейным гнездом.

Как только машины отъехали от дома, все вокруг погрузилось в такую зловещую тишину, что Салима, испугавшись, рухнула на ступеньку у входа в зал. Вот и вторая из ее дочерей покинула дом, самая любимая. Салима вздохнула: «Растишь их, растишь, а потом чужие люди уводят». Она огляделась: сегодня прибираться нет сил, завтра с утра отыщутся помощницы, все отмоем и расставим по местам. Сейчас караван невесты движется

по улицам Маската под пение, потом веселье и танцы продолжатся в доме жениха. Она мечтала увидеть, как Халед откинет шелковую накидку с лица ее дочери, но вместе с тем уважала старую традицию, согласно которой мать невесты не должна появляться в доме жениха. Она постелила себе в маленькой комнате, куда перебралась после того, как Аззан перестал делить с ней постель, и легла с мыслями об Асмаа, добравшись и до воспоминаний о собственной свадьбе.

Ей было уже тринадцать, когда жена дяди убедила его отослать Салиму к матери. Шейх ответил на очередные мольбы вдовы покойного брата согласием и разрешил ей забрать к себе дочь с условием, что Муаз остается у него. Салима перебралась в дом дяди по матери и прожила там самые счастливые годы своей жизни, наполненные материнской лаской и чутким вниманием дяди, которых она была лишена в раннем детстве. Дом дяди все называли не иначе как садом, он был окружен зарослями манго, лимонными и апельсиновыми деревьями, вокруг рос жасмин, а под окнами комнат, образующих полумесяц, были высажены розы. Из каждой комнаты был отдельный выход в сад, где Салима полюбила сидеть, опустив ноги в узкий канал, по которо-

му вода бежала к деревьям, потом уходила на несколько метров под землю и в конце мощным потоком проливалась с главной водяной мельницы аль-Авафи.

Но безмятежное счастье Салимы длилось недолго. До того момента, как шейх Саид сообщил матери, что выдает Салиму замуж за своего родственника Аззана, совсем зеленого еще юношу. Мать воспротивилась, брат принял ее сторону, и они попробовали отказать жениху под тем предлогом, что он еще не встал на ноги и не исключено, что уедет к семье в Занзибар, бросив молодую жену. Но шейх был непреклонен и отрезал, что если они не откроют ворота, чтобы невеста вышла, то он найдет другие способы ее вытащить. Дядя Салимы оскорбился и заперся на все замки.

В день, когда была назначена свадьба, Салима ужинала с матерью и дядей в доме. Внезапно, к своему ужасу, они обнаружили, что к ним во двор по каналу проникают вереницей невольники и невольницы шейха. Рабы, с чьих одежд стекала вода, взяли их в кольцо. Либо Салима пойдет с ними сама, либо придется взять ее силой и протащить вплавь по каналу. Дяде ничего не оставалось, как распахнуть ворота и отдать им

Салиму, которая уже через несколько часов стала женой Аззана и получила прозвище «русалка водяной мельницы».

Абдулла

Лондон спросила:

— Почему про бабушку говорят, что она умерла от колдовства?

— Ну, так им проще объяснить, если человек умирает внезапно или от неустановленной болезни, — ответил я.

— А ты знаешь, пап, чем она болела? — не отставала Лондон.

— Не знаю, — буркнул я.

— Но я врач, могу поставить диагноз. Тебе кто-то говорил, какие именно симптомы у нее наблюдали и как долго она плохо себя чувствовала?

— Да. Говорили, что болезнь развивалась стремительно. А началось все через две недели после родов. Посинела, зрачки сузились, она потела и билась в конвульсиях. Люди объясняли это тем, что духи борются между собой за нее, отсюда и пот, и судороги. А когда она притихла, близкие решили, что те демоны, которые сильнее, забрали ее душу. И ее отнесли на кладбище.

Лондон оцепенела.

— Что с тобой? — спросил я.

— Эти симптомы встречаются в ряде случаев. Но вероятнее всего это отравление. Мне еще бабушка Салима рассказывала, что в окрестностях аль-Авафи встречаются ядовитые растения — кротон, красный и желтый олеандр. Бывало, что завистницы подсыпали их в еду женам, чтобы те освободили место рядом с мужчиной, который им нравился.

Я схватил ее за плечо:

— Но это же моя мать! Кто мог ее так ненавидеть?

— Да, я понимаю. А где в это время был дед?

— Поехал в Салялю по делам… Некому ее было отвезти к Томасу, проповеднику-англичанину, который не отказывал в помощи никому в любое время суток.

— Странно… Может, это что другое. Возможно…

Той ночью я не смог заснуть. Все вокруг твердили про демонов и духов. Зарифа вообще не желала разговаривать о болезни матери. Зарифы уж больше тоже нет. Может, неспроста она всегда сначала сама пробовала то, что ел я? Теперь не узнать…

Аззан и Луна

Когда грохотали последние удары свадебного барабана Асмаа, Аззан нежился на прохладном песке с Наджией, любуясь ее лицом, ничего красивее он в жизни не видел. Он повторил ей строки аль-Мутанабби:

В пустыне девушки и строже, и стройней,
Скупы в словах и не чернят бровей.

Красотки города – их лица тешат взгляд,
Но лик дикарок мне милей стократ.

Ни суеты, ни фальши, ни изъяна –
Их красота чиста и первозданна[23].

Ее звонкий смех зазвенел в тишине пустыни.
— Это и есть тот самый аль-Мутанабби?
Аззан вздохнул.
— Он, Наджия, он самый.
— Что еще за дикарки? — Она, притворившись

---

[23] Сноски: 23
Перевод Г. Калашникова.

обиженной, надула щеки.

— Эх, Наджия, как часто мне судья Юсеф повторял: сердце, сердце… Я не понимал тогда. Сейчас мне ясно, о чем он со мной говорил.

— Так уж и ясно? — покосилась Наджия, ничего не поняв, но разозлившись оттого, что речь опять зашла о судье Юсефе. Она нахмурилась, но Аззан продолжал:

— Когда он взял в жены Марьям, сказал мне, что сердце его перестало отзываться на красоту мира, его заняли только думы о жене и детях. А потом вообще проговорился, что раскаивается: не внял он предостережению аль-Газали[24] не сочетаться с женщиной браком, как бы нужда ни заставляла.

— С ума сойдешь, читая этого аль-Газали! Какая нужда-то?

— Да помилует Аллах душу судьи Юсефа. Скончался, а на голове ни единого седого волоса… А у аль-Газали, дорогая, много сочинений, никто с ума не сошел от них. В них великие тайны мироздания заложены, да только не всякий может их постичь и прочувствовать.

— А ты, Аззан?

---

[24] Сноски: 24

Аль-Газали — исламский богослов, правовед, философ и мистик (конец XI — начало XII в.).

— И я! Сердце-то ты мое железной хваткой прикусила! Куда там ему до целого мира! Что в нем там отразится, Луна моя, как в зеркале?

— Но ведь я же твое зеркало!

Он замолк. Барханы вокруг них хранили молчание. В ушах у Аззана били свадебные барабаны Асмаа и лязгали серебряные браслеты с запястий Наджии, прерываясь ее журчащим смехом. Затем вдалеке послышался ее голос, она рассказывала о рукодельных вещицах, которые сдает торговцу для продажи туристам в Матрахе. И вскоре все стихло. Даже негромкие стихи аль-Мутанабби. Лошади, ночь, пустыня, копье, меч, пергамент, перо… И вдруг раздался густой бас судьи Юсефа:

«Тот, кто сделает над собой усилие, избавится от ненужной похоти и никчемного гнева, низких поступков и дурных помыслов, тот, кто наедине с собой притупит свои страсти и прислушается к внутреннему голосу, найдет себя в вышнем мире, и откроется ему истина, и сам Аллах будет говорить с ним через его сердце, без слов. И тогда для него все мирское померкнет. Он будет зреть только Всевышнего. И днем, бодрствуя, и ночью во сне он будет ощущать струящийся через него свет. Он сможет видеть ангелов и пророков, перед ним будут представать картины из другого мира.

Для него разверзнется земля и распахнется Царствие Небесное. Он узрит то, что и представить и описать невозможно. И ничего не скроется от него на Земле от восточных до западных ее пределов. Посвяти себя Всевышнему на семь дней! Никого больше не вспоминай и не упоминай в эти дни, кроме Него. Соблюдай строгий пост днем, ночью по мере возможности. Избегай людей, ни с кем не говори. И тебе явится чудо земное. Еще через семь дней ты станешь свидетелем чуда небесного. Еще через семь дней ты войдешь в Царствие Небесное. А через сорок — Аллах дарует тебе свои щедроты».

Аззан дрожал. С него ручьями лился пот.

— Да что с тобой? — склонилась над ним Наджия.

Он взглянул на нее глазами, полными ужаса:

— Мне нужно идти. — Схватил сандалии и зашагал прочь.

«Я боюсь, судья Юсеф! Боюсь. Сердце мое будто ястреб унес и схоронил у себя в гнезде. И вокруг все черно. Ничего не вижу, судья Юсеф! Ничего не видать!»

Абдулла

Зарифа рассказывала, что младенцем я хныкал без перерыва. Сестра отца захотела забрать меня к себе, после того как муж помирился с ней и принял обратно. Но отец запретил и поручил мое воспитание Зарифе. Он купил несколько телок, дающих жирное молоко. Но и оно не успокаивало меня. Зарифа, чтобы я заснул, засовывала мне в нос лист табака или, решив, что я мучаюсь от боли в ушах, заливала туда по капельке кофе. А если она думала, что меня беспокоят глаза, то брала меня к кормящим женщинам, чтобы они брызнули мне в них своим молоком. Чуть я подрос, и она повесила мне на шею амулет от сглаза и убедила отца сделать мне в ухе прокол для серебряной серьги, которая будет хранить меня от демонов темного мира. Меня, мальчишку, им похитить ничего не стоит, как когда-то мою мать! Она собственноручно делала мне на шапочках вышивки и гордилась, что я единственный в аль-Авафи ребенок, который надевает по праздникам сандалии и индийскую накидку с блестящими нашивками, в которых все отражалось, как в

зеркальцах.

Вспоминая это, Зарифа посмеивалась. Она воспитывала меня до «дня большого гнева», как она это называла, когда между ней и отцом произошла ссора, причины которой мне неизвестны до сих пор. Отец удалил ее от себя и женил на ней самого строптивого и норовистого из рабов — Хабиба, который был младше ее как минимум на десять лет.

Лондон

Машины свадебного кортежа Асмаа и Халеда вернулись в аль-Авафи незадолго до рассвета. Запал певиц и танцовщиц охладел. Некоторых неумолимо клонило в сон. А в этом время Мийя сидела перед окном в кресле. Все происходящее казалось ей нереальным. Сначала ее неожиданно выдали замуж за сына торговца Сулеймана, потом сестра вышла за сына Иссы-мигранта, а младшая Холя все ждала двоюродного брата Нассера. Было слышно, как она бормочет себе под нос на свадьбе Асмаа: «Господь мой, направь ко мне Нассера!» Все понимали, что возвращения его ждать бессмысленно, но упрямая Холя никого не хотела слушать. Мийя загляделась через распахнутое окно на горы, утопающие в темноте, переложила малышку с руки на руку и подумала: «Если вся эта жизнь похожа на сон, когда же мы очнемся наконец?» Она погладила дочку по голове и прошептала ее имя: «Лондон! Лондон! Будешь ли ты счастлива, девочка моя?»

Через двадцать лет, когда Лондон будет уже разведена, ею вскоре овладеет странное чувство,

что самолюбие ее задето. Это будет гремучая смесь тоски, негодования, обиды и раскаяния. Она осознавала, что такой, как раньше, она не будет уже никогда. А то, что называют опытом, на самом деле останется при ней, как хроническая болезнь, от которой не умирают, но и не выздоравливают. С которой невыносимо жить, но от которой не вылечишься. Она будет тебя преследовать, куда бы ты ни пошла, и внезапно обостряться на пустом месте, напоминая о том, что у этого заболевания есть осложнения, но мы просто притворяемся, что их не существует. Еще более нелепо говорить о том, чтобы «перевернуть новую страницу». Лондон пыталась перевернуть ту страницу, где написана их с Ахмедом история любви. А сколько людей каждый день тщетно пытаются сделать то же самое? Ханан советовала ей: «Жизнь, Лондон, продолжается. Просто нажми delete. Let it go!» Но страница-то не из легких! Руки опускаются под ее тяжестью. Все люди разные! Как они это делают? Как перелистывают страницы своей жизни? И наново писать она пробовала. Но белых страниц в жизни не бывает. Им неоткуда взяться… Задето самолюбие. Больше. Задета честь. И рана уже кровоточит… Она поправила плюшевого мишку на кровати.

Распылила в комнате дорогие духи. Задернула штору. Легла. Но не смогла заснуть. Она смотрела внутрь себя и видела свое сердце. Воспоминания продолжали раскачивать его и колыхать, пока тонкие стенки сердечка не задрожали. Она еще раз услышала все слова, всё, что он говорил ей с первого дня знакомства на лестнице в университете. Переслушала все их длинные телефонные разговоры. Сейчас сердце надорвется. В глазах потемнело. «Let it go!» — послышался из ниоткуда голос Ханан, будто кто-то включил иностранный фильм. Герой оказался предателем, героиня его бросила и тут же забыла, стоило ей послушать кого-то, кто говорит: «Oh dear, let it go!» Все плохое на этом обрывается, героиня начинает писать страницу заново. Почему же Лондон не может вырвать ее, почему ей так тяжело? И сердце не дает этого сделать. Что же ее так крутит от этой боли, невыносимой, несуразной? Это унизительное чувство неудачи… Лондон ворочалась с боку на бок, но перевернуться самой было куда легче, чем перевернуть пресловутую страницу.

Зарифа

Зарифа вернулась со свадьбы Асмаа, утомленная песнопениями, танцами и хлопотами. Сулейман не ложился, ждал ее. Ему нравилось овладевать ею после свадеб, когда она была приодета и приукрашена и через нее можно было ощутить атмосферу, царившую на торжестве, тот трепет, который испытывали жених и невеста друг перед другом. Зарифу клонило в сон, но она уступила и вышла от Сулеймана, только когда он захрапел. Она рассчитывала, что тут же рухнет в кровать и провалится в сон, но ее начало что-то беспокоить.

Свадьбы ее уже не привлекали как прежде. И с каким бы задором она ни старалась попадать в общем танце в такт, ей было скучно. Что такое эти свадьбы? Обносишь гостей закусками и напитками, да и только. Танцуют, поют, сплетничают. Настоящее удовольствие не на свадьбах, а на обрядах зара! После трапезы под яростные удары барабана она будто хмелела и ощущала такой прилив сил, что могла пройти по горящим углям или начать кататься по земле во время безумных

плясок. Мать ее — да помилует Аллах ее душу! — была Большой Мамой, главной устроительницей и главным действующим лицом, и разговаривала с джиннами, которые вселялись в участников обряда, корчащихся на углях. Зарифе было все равно, что Сулейман прикажет высечь ее, если она пропадет на два-три дня. Пусть он накажет ее одним из своих рабов! Пусть проклянет негритянскую кровь ее матери! Она не откажется от этой эйфории, даже если Хабиб запретит ей.

Посреди ночи она бросала на него младенца и уходила с матерью, сетуя на то, что Хабиб не способен радоваться жизни и не может принять, когда кто-то получает от нее удовольствие. Если бы не общий сорванец, она и не считалась бы с этим мужчиной. Хабиб намного младше ее, с более светлым оттенком кожи, унаследованным от матери, высокий. В его объятиях ей казалось, что ее снова тискает один из отпрысков шейха Саида, которые забавлялись ею до того, как ее выкупил Сулейман. Она всеми способами демонстрировала Хабибу свою холодность. Он бросил ее до того, как она сделала с ним то же самое, что ее мать со своим мужем Насибом. Хабиб успел сбежать. Она вздохнула, избавившись от его ночных воплей: «Мы свободны! Свободны!», от его

бреда о трупах, потопленных в море, гноящихся глазах и пиратах.

Если сын пойдет в него, то рано или поздно сбежит, оставив на ее сердце незаживающую рану. Лучше бы совсем не рожала! А как тяжко ей пришлось! Как долго она не могла разродиться! Мать ее уж все перепробовала, чтоб облегчить ее страдания: поливала ее прогорклым свернувшимся маслом, водой со взвесью могильной пыли, водой со взвесью пыли из брошенной мечети, расплавленным христовым терном, медом, над которым судья Юсеф прочитал суры Корана, приподнимала над землей ногами вверх, пока, вконец отчаявшись, не проговорила: «Бабка твоя померла при родах. Факт! Но Зарифе я не дам умереть и ребеночку тоже!» С этими словами Паучиха запустила к ней во влагалище руку так глубоко, что вырвала синюшного младенца. Отхлестав его по щекам и убедившись, что жизнь в нем затеплилась, она передала мальчишку Хабибу на руки, а сама закопала послед у порога, присыпав его пеплом и солью. Зарифу же уложила на мягком песке, напоила молоком с жиром и спрятала у нее в изголовье нож от всякого сглаза. И только после этого она, не спавшая несколько ночей кряду, отправилась к себе.

Муэдзин, приехавший сюда из Самаиль, огласил приближение восхода. Сулеймана нужно разбудить, чтобы он успел на общую молитву. Для хлеба на завтрак пора уже месить тесто… Какой была ее бабушка, скончавшаяся в родах? А ведь она почти ничего не знает о своих предках. Слышала от матери, что дед ее сбежал, чтобы напоследок одним глазком взглянуть на крохотную африканскую деревушку, где жил, горя не ведая, пока на него и всех его потомков не обрушились все эти суровые испытания.

Когда в Кении на свет появился Сангур, Саид бен Султан[25] подписал с Британией второе соглашение о запрете работорговли. Согласно документу 1845 года, на котором он поставил подпись, между его африканскими и азиатскими владениями прекращалась торговля невольниками; кроме того, британским морякам были даны полномочия обыскивать оманские суда в их же территориальных водах в Персидском заливе и Индийском океане и арестовывать их с конфискацией при условии нарушения договора. Сангуру не было и двадцати, когда его поймали охотники

[25] Сноски: 25

Саид бен Султан (1791–1856) — правитель Маската, Омана и Занзибара, перенесший в Занзибар столицу. После его смерти султанат распался на два независимых государства — Оман и Занзибар.

на людей, пришедшие из далекой, менее миролюбивой деревни. Они залегли в джунглях в засаду, установив ловушку, пришедший на рассвете за дровами Сангур в нее наступил, петля на его ноге затянулась, и он повис в воздухе, став их легкой добычей.

Рабов свезли на побережье, затем двести семьдесят семь из них погрузили на корабль, взявший курс на Занзибар. После трехдневного перехода без еды и питья они пристали в секретной точке к острову. К тому времени шестьдесят человек были мертвы, и их тела бросили за борт. Торговцы, среди которых были как арабы, так и африканцы, заплатили налоги — по два доллара за голову, после этого пленников вывели на сушу. Парусник из Сура разгрузился, но стоял еще в порту, ожидая выхода в море. Торговцы, воспользовавшись заминкой, предлагали сделки англичанам — владельцам гвоздичных плантаций, куда в итоге они отправили сотню новых рабочих рук.

Сдав всю вяленую рыбу, капитан парусника покинул занзибарский порт. Они благополучно прошли обыск британских моряков и развернулись в то место, где было условлено погрузить на борт оставшихся в живых рабов, не выкупленных англичанами. Среди них был и Сангур,

у которого начиналась лихорадка. В рубке капитана хранились в свернутом виде французские флаги, полученные у представителей посольства в Адене. Их он поднимал в случае внезапного появления английских судов посреди открытого моря. Когда в конце августа подгоняемый попутным юго-западным ветром парусник прибыл наконец без происшествий в порт Сура, Сангур уже шел на поправку, легко переносил качку и даже понимал по-арабски.

Торговцы, приступившие к дележу товара, закончили споры только к утру следующего дня. Капитан же, как никто извлекающий выгоду из конфликта англичан с французами, припрятал флаги понадежнее и, довольный, отправился домой. Как только торговцы пришли к согласию, рабов этапировали и разместили в двух трехэтажных постройках. Сангура с другими подняли на верхний этаж в комнаты с узкими высокими окнами, через которые задувал свежий ветер. В помещения на первом этаже, где окон не было вообще, так как они предназначались под склады, втолкнули самых строптивых. К ночи воздух внутри здания накалялся так, что им разрешали спать на крыше. И даже свежий ветер со стороны моря был бесполезен в этой удушающей жаре.

Сангур обтирался влажной тряпкой, глаза краснели — ни о прошлом, ни о будущем он не думал, ему бы только прилечь да заснуть на твердой земле.

Через несколько дней его присоединили к небольшой группе рабов, которую переправили в аль-Батыну, где они были нужны для работы на земле. Но там он пробыл недолго, его перекупил шейх из аль-Авафи. Сангур прислуживал в его доме, ухаживал за участком, женился на невольнице из гарема шейха, но, не дожив до пятидесяти, умер от туберкулеза, оставив двух дочерей, которых вскоре погубила та же болезнь, и сына. Тот, успев жениться и обзавестись детьми, среди которых была только одна девочка, примкнул к шайке грабителей. После этого следы его терялись. Так Паучиха, после того как все ее братья были проданы, росла сиротой в доме шейха Саида, как раз в это время унаследовавшего от отца этот почетный титул. Шел шестнадцатый год его длинной-предлинной жизни…

Асмаа и Халед

Прослушав текст, который по памяти пересказала ему Асмаа, заучив его еще в детстве, Халед ответил:

— И что, ты нашла это в какой-то старой арабской книге? Похоже на «Ожерелье голубки».

— «Ожерелье голубки»? Кто написал книгу с таким красивым названием? — спросила она.

Он улыбнулся.

— Андалусский мудрец Ибн-Хазм[26]. Думаю, он автор.

Асмаа склонилась к нему.

— А ты веришь, Халед, что души и вправду ищут свои половинки?

Он усмехнулся.

— Асмаа, эта древняя легенда. Якобы люди сначала поклонялись луне, были бесполые, ни мужчины, ни женщины. Каждый с двумя головами, четырьмя ногами и руками. Но боги стали опасаться, что люди их свергнут, и разделили их тела пополам. Пупок у нас остался как напоми-

---

[26] Сноски: 26

Ибн-Хазм — андалусский теолог, поэт и историк (конец X — начало XI в.)

нание о разрыве. И так мы обрели пол и стали бродить в поисках своих половинок, чтобы с ними воссоединиться.

— А я твоя половинка? — посмотрела на него Асмаа.

— Которую я наконец отыскал, — прижал он ее к себе.

Халед рассказал ей, как влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел.

Однако вскоре Асмаа пришлось убедиться, что люди вовсе не частички тел, которые ищут друг друга, чтобы слиться в когда-то единое целое. Нет. Наши души и тела не части целого, их невозможно спаять, они разные. Нет такой пары, кто подходил бы друг другу так, как сочетаются осколки разбитого стекла. Она вовсе не половинка Халеда, и уж точно не та, которую он искал.

Халед — сам неделимое тело со своей траекторией. Он хорошо знает, что хочет, все это он уже получил: любящую семью, диплом о высшем образовании, искусство, заменившее ему внутреннюю жизнь, как думала Асмаа. В нем пробудился к ней интерес, когда он увидел ее разглядывающей его полотна широко раскрытыми от восхищения глазами. Он давно решил, что женится на женщине, не похожей на других,

но не мешающей ему двигаться по собственной орбите. Главное, чтобы она сама не стала звездой со своей вселенной. Он был не против ее учебы в вечерней школе. Учиться на дневном отделении замужним не разрешал новый закон. Он поощрял ее увлечение чтением. А когда она получила диплом педагога, он был рад, что жена стала личностью, уважаемой женщиной, которая сделала выбор в пользу того, чтобы реализовать себя на общественно значимой работе. Такой женой можно было гордиться. Она была как финальный мазок на его автопортрете, который он выставлял напоказ. Жена, свободная, но в поле его притяжения, не более того.

Все это Асмаа сообразила, но было поздно. Она сильно привязалась к нему, чтобы не ранить и себя, ведь без этой любви она уже не могла. Как были не похожи ее чувства на то, что испытывал Халед. С самого начала он очертил границы, которые устраивали его и за которые Асмаа не могла выходить. Он любил ее, только если она не нарушала эти правила. Шли дни, но эта своеобразная любовь не угасала в нем. Он поднимал ее на немыслимые высоты, ставил ее образ на пьедестал, на самом деле упиваясь собственным умом и удачливостью. Но Асмаа не та бабочка,

которая, ослепнув, летит на огонь. Она просчитала, на каком расстоянии от себя он ее держит: он таился от нее, закрывался в комнате, чтобы работать, тем самым возводя между ними стену кирпичик за кирпичиком. Он оставался за этой воображаемой стеной в одиночестве неделями, а иногда и месяцами, будто вовсе забывая о ее существовании. Потом вдруг вспомнив о ней, приближал к себе снова и принимался доказывать свою любовь, которая, дразня и истязая, бросала ее то в ад, то в рай.

В первые дни она упивалась его любовью. Она получила за эти дни столько счастья, сколько не испытала за всю свою жизнь до него. Она полюбила его с такой жаждой, которую нельзя было утолить. Она в отличие от него не спешила растратиться, распылиться и проглотить удовольствие целиком и сразу. И когда его чувства стали увядать, ее, наоборот, пустив глубоко корни, зацвели пышным цветом. Когда наступило понимание, что его любовь исчерпана, ее сначала охватил ужас, но потом она, будучи женщиной с опытом, разумно рассудила и приспособилась. Она продолжала любить его, смиренно и сдержанно, отгородив для себя собственное пространство, уважая его границы, проявляя

терпение и мудро в чем-то уступая.

Они так и жили, как два небесных тела, у каждого свое поле и своя судьба, и все столкновения с отлетающими от них обломками, все притяжения друг к другу — все это временно. После долгих лет вместе, детей, друзей, книг Асмаа смирилась с его погруженностью в искусство. Приняла, что он закрывается от нее с мольбертом и красками. Приняла, что он не допустит ее в этот мир. Перестала бояться рысаков со злобным взглядом, застывших в прыжке. Перестала обращать внимание на то, что все они были либо воронымы, либо белыми. Она сделала это ради его же спокойствия, оставив его таким, каким он был — свободным от нее, летящим своим путем небесным телом, цельным и неделимым.

Когда у нее появятся дети, она закажет самую широкую кровать, чтобы они помещались на ней все вместе и спали, сплетая руки и ноги, как ветви дерева, стволом которого она себя представляла. Его же она убедила в том, что объятия женщины, ставшей матерью, аромат духов которой смешался с молозивом и детскими запахами, отличаются от прикосновений бездетной женщины, полностью отдающей свою любовь мужчине.

С рождением каждого последующего ребенка

она только укреплялась в вере, что это и есть ее истинное предназначение: слышать душераздирающий крик новой жизни, которая выходит из нее. Раз за разом. Пока она не сможет уже давать жизнь.

К сорока пяти годам у Асмаа было четырнадцать детей, которые росли как листочки на дереве, в доме, наполненном светом и раскрашенном всеми цветами радуги кистью их отца.

Абдулла

20 марта 1986 года, когда Лондон было пять лет, а Салему два, с отцом случился первый инфаркт. А 26 февраля 1996 года он скончался в больнице «Ан-Нахда». Тогда Мухаммеду, родившемуся с аутизмом, исполнился год.

Последние шесть лет я жил в непрерывном страхе, что отец умрет. А когда это произошло, я понял, что на самом деле уже пережил его смерть, так как не ощутил внезапного горя или ужаса. В первые недели я плохо спал от злости. Ее будто незаметно вливали мне в вены, и она растекалась, отравляя меня всего. Из головы не выходила картина: я стою над его кроватью, он накрыт белой простыней, пахнет антисептиком, народ все прибывает, его поднимают с кровати, меня сажают в одну из машин, никто мне не соболезнует, сначала надо совершить погребение. Мы доезжаем до аль-Авафи, его вносят в дом, доносится душераздирающий крик Зарифы, люди набирают в ведра воды, с западной стороны от дома устанавливают стол и шторки и заталкивают меня к телу отца, чтобы я омыл его сам. Аззан,

отец Мийи, подает мне ведро и показывает, как надо обтирать тело. Абдель Рахман, сын судьи Юсефа, помогает мне обсушить покойного и обернуть его в саван. Люди перекладывают его тело на носилки и ставят меня с одной из сторон, чтобы отнести тело отца на кладбище. Мы движемся к западу от аль-Авафи, я слышу, как вокруг взывают к Аллаху и перешептываются. Сувейд роет могилу. Аззан спускает меня туда, чтобы я принял тело отца и уложил его на правый бок. Я вдыхаю запах свежевскопанной почвы и выбираюсь оттуда. Люди бросают в могилу камни, засыпают сверху землей и наконец в изголовье устанавливают могильную плиту. Мы возвращаемся в аль-Авафи.

На поминках мне пожимают руки, молят Всевышнего принять мой траур. «Все в руках Аллаха!» — отвечаю я им. Соболезнующим разливают кофе, перед ними ставят подносы с пловом. С наступлением темноты я возвращаюсь к себе, вхожу в комнату отца, и меня захлестывает гнев. Траур заканчивается через семь похожих друг на друга дней.

Через годы я припомню другие детали этих событий: как живот у отца вздрогнул от тяжелого напора холодной воды, как под ним образова-

лась лужа, растекающаяся по двору и далеко разносящая по аль-Авафи запах чапыжника, как у него, уже обернутого в саван, приподнялся и остался стоять бугорком указательный палец. Мне мерещится, как он рукой отмахивается от камней и разгребает землю, а потом рука остается торчать над могилой. А потом мне привиделось, что Зарифа отрубает сама себе ноги и выдирает с кожей седые волосья.

Мужчина в пустыне

Сатурн начинал восхождение.

Мужчина, одиноко стоявший посреди пустыни, к чему-то готовился. Он смешивал ингредиенты, чтобы потом сжечь их: шафран, шелуха льна, кусочки шерсти, кошачьи мозги. Все заранее перепроверил: Луна убывает, а Сатурн и Марс выстраиваются в линию перед ней. Он громко выдохнул, вспомнив, как переменилось лицо женщины, явившейся к нему в дом за помощью, когда он назвал ее русалкой водяной мельницы.

Сейчас от Сатурна идет такая сила, что можно наблюдать, как звезды, мерцая, падают одна за другой.

Мужчина еще раз тщательно перемолол содержимое кубка, облачился в темно-зеленый балахон из шелка, разжег благовония, надел на руки железные браслеты, медленно поднял над головой кость и начал взывать к Сатурну.

По безмолвной пустыне прокатился его зычный голос: «Великий и ужасный, всемогущий дух, источник чистого разума и повелитель хода времени, истощающий силы жизни, раздающий

печали и причиняющий боль и страдания! Холодная бесплодная звезда Сатурна! Демон любви, чей гнев страшен, хитрость ужасающа, зависть всепоглощающа! Апатии, тоски и слез обитель! Беда и погибель тому, на кого ты рассердишься, не завидна участь того, кто впадет в немилость к тебе. Во имя Создателя вышнего и нижнего миров! Внимай моим словам и дай им силу! Заклинаю тебя, праотец! Отсечь все чувства Аззана, отца Мийи, к Наджие. Да встанут меж ними непролазные горы, взойдут непроходимые чащобы и расстелятся непреодолимые пустыни! Не видать им друг друга, как свету тьму, а огню влагу!»

Холя

После свадьбы Асмаа Холя осталась в доме с матерью, последняя из сестер. Отец редко проводил с ними время. Мать была уже не так строга к ней, но все равно изо дня в день Холя все больше тяготилась такой жизнью. Она замкнулась и сосредоточилась на своей внешности до такой степени, что это стало походить на маниакальное влечение. Она ждала Нассера с полным убеждением, что он вот-вот вернется, отметая все сомнения, которые пытались в ней заронить окружающие. Она Виргиния, Джульетта, Лейла, она вечная возлюбленная, она готова пожертвовать всем ради настоящей любви. В одном была права Асмаа, начитавшаяся книжек, — что есть разделенные насильно души, которые не найдут успокоения, пока не воссоединятся и не обретут друг друга. Холя обнаружила, что эта легенда не из «Ожерелья голубки», а из менее известной книги — «Аль-Захра». Но это не имело значения, главное — Нассер, ее половинка, вернется. Так и произошло.

Ей предстояло прожить в ожидании еще пять

лет и отвергнуть не менее дюжины женихов, прежде чем Нассер вернулся к ней. Или ей сначала просто показалось, что он вернулся за ней. Однако он действительно появился в Омане, потерпев полный крах в Канаде. Грант у него забрали несколько лет назад, лишив стипендии, и он перебивался теми деньгами, которые втайне ото всех высылала ему мать, и случайными заработками, потому что ни на одной работе долго не задерживался. А потом мать умерла. Его выгнали с последнего места, и он вынужден был вернуться на родину. По возвращении он столкнулся с тем, что в завещании мать для вступления в права наследства выставила условием его брак с Холей. Он женился, получил причитавшееся и спустя две недели отбыл в Канаду.

Незадолго до смерти матери он с подругой снял небольшую квартирку в Монреале. И когда приехал обратно, не посчитал нужным сообщить ей, что женился в Омане. И так он прожил десять лет, наведываясь каждые пару лет на родину, чтобы увидеть свое новое чадо и оставить Холю снова беременной.

Холя цеплялась за свою мечту из последних сил. Нассер вернулся к ней, и она его уже не потеряет. Каждый раз, когда приходилось проявлять терпе-

ние при его очередном отъезде в Канаду, когда он возвращался из Канады и часами разговаривал по телефону, играл брелоком с ключами от машины, на котором красовалось фото его канадской подруги, когда привозил детям в подарок одежду размером меньше, она мнила себя мученицей, страдающей за любовь, готовой сносить любую его жестокость.

На недовольство матери и сестер Холя отвечала: «У него работа там, но однажды он останется насовсем. Он все поймет и вернется к жене и детям, все возвращаются к своим корням». А когда через десять лет ее мечты сбылись и канадка порвала с ним, выставив из квартиры, он вернулся домой, нашел неплохую работу в одной из местных компаний и заново познакомился с Холей и детьми.

Абдулла

Когда Лондон было лет десять, Мийя водила ее в книжный магазин под вывеской «Семейная библиотека» и накупала детских книжек на английском языке. Потом открылось много разных книжных, но «Семейная библиотека» оставалась не только самым старым, но и самым популярным магазином. В конце XIX века американские христианские миссионеры основали его как лавку для продажи Евангелия, но потом, ввиду отсутствия потока покупателей, ассортимент разнообразили, заведение переименовали в «Семейную библиотеку», и дело пошло, читатели потянулись, так что в конце 60-х годов магазинчик стал сетевым. Однако Восточная церковь выразила недовольство светским характером заведения и напомнила управляющим об их обязательствах и о том, с какой целью была затеяна торговля.

Мийя не вникала во все эти подробности, она покупала книги сначала только с одной целью — чтобы дочка выучилась читать по-английски, затем — чтобы научить Мухаммеда говорить.

К его пятилетию она добилась того, чтобы сын заговорил, но употреблял он слова не к месту, не как остальные дети. По большей части он продолжал общаться жестами. И хотя врачи объясняли нам, что аутизм не наследственное заболевание и что его причины кроются не в экологии, мы с Мийей приняли решение не иметь больше детей. Когда я смотрю на него, всегда пытаюсь вспомнить свое детство: каким я был в его возрасте? Как воспринимал окружающий мир? Однако все, что мне вспоминается, — наш большой дом, сначала из глины, потом из бетона, обрастающий многочисленными пристройками. Я помню мячики ярких расцветок, которыми играли дети на улице, куда мне запрещалось выходить, блестящие зеркальные нашивки на моей праздничной индийской накидке, гордую осанку жены дяди до того, как они переехали в Вади Удей, толстые золотые браслеты на руках сестры отца, аромат тонких лепешек, испеченных Зарифой, огонь во рту от стручка перца в тот день, когда ее выдали за Хабиба. Отец говорил: «Я купил ее за двадцать монет, когда в кризис мешок риса из Калькутты или Мадраса уходил за сотню. А Зарифу за двадцатку… Двадцать сребреников

Марии Терезии[27], из такого чистого серебра, что подделать их было невозможно». Отец гордо носил их в кожаном носке, привязанном к поясу, и брезговал сначала бумажными риалами, на которые все-таки пришлось перейти.

Мийя была жадная до денег, мечтала накопить столько, чтобы распрощаться с аль-Авафи и завести красивый просторный дом в Маскате. Но ее мать упрашивала не увозить Мийю в столицу. Мийя была недовольна, она, как сказала, не желала жить по указке матери, как я под пятой отца. А когда пошли слухи об исчезновении той неземной красоты бедуинки, с которой связался ее отец, Мийя произнесла: «Тут замешана моя мать». А как она могла быть к этому причастна? Она же из дома носу не казала. Кто-то говорил, что бедуинка заразилась загадочной болезнью, изъевшей все ее тело часть за частью. Другие уверяли, что она продала дом и верблюдов и перебралась в Матрах, чтобы торговать поделками. Спорили также, что она внезапно тронулась умом и подруги отвезли ее в лечебницу «Ибн-

[27] Сноски: 27

Мария Терезия (1717–1780) — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии.

Сина»[28]. И наконец, сплетничали, что якобы ее соседи, владельцы двухэтажного особняка, превратившие ванну в кормушку для овец, после ее насмешек над ними убедили ее слабоумного брата в том, что сестра его позорит и что от нее нужно избавиться, показали, как стрелять из пистолета, а труп сами вынесли незаметно под покровом ночи и зарыли где-то в песках.

[28] Сноски: 28

Ибн-Сина (Авиценна) — средневековый персидский ученый, философ и врач (конец X — начало XI в.)

Халед

Асмаа спросила: «Халед, почему ты стал художником?»

«Чтобы выйти за рамки, установленные отцом, чтобы моим ограничением были лишь собственные фантазии.

С детства до двадцатилетнего возраста отцу удавалось чинить препятствия моему воображению. Было понятно, где заканчивались его мысли. Все свои неудавшиеся амбиции он пытался реализовать во мне.

Искусство стало для меня такой же насущной необходимостью, как вода и воздух. Я понял тогда, что если не отпущу свои грезы на волю, не смогу дальше так жить. Только воображение, Асмаа, придает смысл моей жизни. И как бы прекрасна ни была реальность вокруг нас, без включенного воображения она невыносима.

Ты видишь, как люди суетятся? Их бессмысленные движения? Это лишь верхушка айсберга. Скрытая же от глаз глыба — это их внутренние переживания, личное пространство, их фантазии. Как только перестал жить по уму своего

отца, я взял в руки кисть и нарисовал себе другую реальность. Отрастил волосы, отпустил бороду, влез в рваные джинсы, бросил инженерный факультет и поступил на отделение изящных искусств.

Порой я творю до истощения. Идя по улице, чувствую, что чего-то не хватает — в руке нет кисти. Кисть как часть меня, как орган, который рос и дышал вместе со мной. Я жил на своих полотнах; то, что происходило вокруг, меня не трогало. Моего воображения было достаточно. Энергия била через край. Я рисовал часами как в лихорадке, не спал ночами, бредил, уходил в искусство с головой.

Искусство, Асмаа, спасло меня от того, чтобы я стал частью плана своего родителя. Исса, Асмаа, не забыл, что он мигрант. Он носит свою историю глубоко в себе, ведь это его судьба. И он очень старался, чтобы и сын перенял эту судьбу, продолжил его историю, став его наследником. Чтобы сын отомстил судьбе за его невезение, за все невоплощенное, за то, что у него отняли родину.

Исса-мигрант начинал каждое утро с того, что зажмуривался, потом, открыв глаза и осознав свою долю, выходил на улицы Каира, вливался в толпу египтян, устраивал детей в египетские

вузы, но ни на минуту не забывал о том, что он Исса, сын шейха Али, вынесшего все беды Омана на собственных плечах. Шейх Али был в делегации, сопровождавшей Иссу бен Салеха, посла имама и союзных племен, на подписании договора в ас-Сибе между англичанами и султаном. Он помнил, как ликовал отец, когда заключили соглашение, даровавшее им свободу передвижения по внутреннему Оману, как тогда они загорелись идеей всеобщего объединения, чтобы дать отпор британцам. Все эти подробности не давали Иссе-мигранту спокойно уснуть, когда он ложился ночью в кровать. Отец рассказывал мне, каким духом обладали наши предки. Его прадед шейх Мансур бен Нассер был из тех всадников, что давали отпор ваххабитам, совершавшим набеги на оманские племена. Он участвовал в том легендарном бою, когда оманцы, схватившись за мечи, исступленно защищались до наступления темноты, пока руки уже не сжимали оружие. О шейхе Мансуре слагали песни, которые женщины потом долгое время исполняли на свадьбах. Песни о невиданной смелости шейха, не выпустившего меча из рук. Белый конь его носился как ветер, и одно только имя его вселяло страх в вероломных врагов. Исса-мигрант, унаследовавший его

доблесть, бок о бок сражался с имамом Галебом аль-Хинаи на аль-Джабаль аль-Ахдар. Он своими руками хоронил погибших героев и под покровом ночи носил секретную переписку. А когда их разбили и распустили, он эмигрировал, но только телом, болевшая душа его осталась здесь.

Кого он хотел из меня слепить? Борца? Героя? Шейха, раздающего милостыню и защищающего слабых? Шейха нового времени, шлепающего именную печать на прошения бедуинов и крестьян? Политика-оппозиционера? Тема разгоревшейся в Дофаре революции была у него под запретом. Он отрицал ее до исступления: «Коммунизм?! Невозможно! Это не для Омана!»

Каждый вечер он читал мне книгу шейха аль-Салеми «Выдающиеся люди оманского народа», я заучил ее наизусть. Он брал меня на набережную Нила в аль-Асари и просил меня читать вслух по памяти «Ан-нунийю» Абу Муслима аль-Бахляни[29]. Отец старался внушить мне, что Абу Муслим аль-Бахляни не менее значимый поэт, чем Ахмед Шауки[30], что все его поэтическое на-

---

[29] Сноски: 29

Абу Муслим аль-Бахляни (1857–1921) — оманский поэт и просветитель.

[30] Сноски: 30

Ахмед Шауки (1868–1932) — египетский драматург и поэт.

следие у меня должно от зубов отскакивать, а не только «Ан-нунийя». Я помню, как по его щекам катились слезы, когда я повторял:

Погонщик, скажи, отчего твоя песня
Склонила мне голову, я уж не весел,
В бешеном реве стад я твоих
Слышу, как армия еле живых
Носится в небе и на земле,
Сладостен голос, но не по мне.

Стоило мне произнести эти строки, как он просил меня перечитывать их снова и снова, потом со вздохом подхватывал:

Как я много на чужбине растерял!
Как мой век с тоской на сердце протекал…
Вам отдам я все остатки прежних сил,
Чтобы совесть не заела у могил.

Он был большим поклонником аль-Бахляни и хотел, чтобы и я знал, какой разносторонней творческой личностью он был, как активно участвовал в движении возрождения, что в начале XX века основал первую оманскую газету

«Ан-Наджах», которую печатали в Занзибаре, что его сочинения стали первым полным собранием, выпущенным в Омане, что он собирал все возможные издания по философии и этике и всем сердцем болел за ученых и теологов Омана, упоминая в своих стихах даже тех из них, с которыми лично не встречался. В вынужденной ссылке отец сделал все, чтобы одно из каирских издательств взялось выпустить наряду с другими произведениями оманских писателей и его наследие. Я помню, как мы часами разбирали и перекладывали тираж. Как отец будет это распространять и кто это будет читать? Он определил меня на инженерный факультет, потому что будущее Омана за инженерами и юристами. При каждой возможности отец напоминал мне, чтобы я не заглядывался на египтянок. Он выражался яснее ясного: «Да, мы сейчас живем здесь. Но мы не отсюда. И здесь не останемся. Когда мы умрем, нас положат в родную землю».

Я часто задумывался, какая она, эта страна, которую я покинул в раннем детстве, не успев познать. В воображении вставала ужасная картинка: ряд черных гробов в багажном отделении самолета. Первый — отца, затем матери, мой, Галии, брата. Перелет из Каира в Маскат, кото-

рый мы совершали уже мертвыми. Потом наши тела из гробов извлекают руки незнакомых мне родственников, чтобы под палящим солнцем захоронить тела на кладбище аль-Авафи, где нет ни одного деревца, не пробивается ни одной травинки. Порой мне хотелось, чтобы отец поменял свои намерения и нас похоронили на одном из полных шума и суеты кладбищ Каира, где снуют торговцы и отовсюду слышатся аяты Корана. Но лучше, чтобы мы сели на рейс в Маскат живыми.

Когда я наконец вырвался за границы его плана и познал вкус свободы — свободы выбирать себе книги по духу и друзей по сердцу, возможности выбирать место по внутреннему ощущению, — я перестал быть простым продолжением или воплощением задумок другого человека, пусть он и был моим отцом. Я избавился от преследовавшей меня головной боли, от болезненного страха остаться запертым в темноте. Я полюбил гулять по улицам Каира. Других я и не знал. Привязался к друзьям-египтянам. Они были настоящими, кричали на демонстрациях, рисовали картины, мечтали, порой, конечно, хулиганили. Но они не были бледными тенями своих предков, возводимых в ранг святых. Отец хранил молчание. Он не пришел на первую мою выставку. Не прочитал

ни одной статьи, где говорилось о моем творчестве. Он стал относиться ко мне с прохладцей, граничащей с высокомерием и разочарованием. И когда я уже начал забывать страну, которая называется Оманом, умерла Галия. Мир вокруг нас рухнул. Когда встал вопрос, где ее хоронить, я осознал, какими прочными узами мы все в семье связаны друг с другом, даже я, свободный художник.

Отец поседел буквально за два дня. Мы собрали чемоданы и вернулись все. Живыми. Кроме Галии. Которая воплотила мой кошмар — мертвое тело в гробу на борту самолета.

Возвращение в Оман оказалось не таким уж невозможным, как представлялось. Нужно было просто купить билет туда-обратно, чтобы похоронить сестру. А потом вернемся в Каир, в свой дом, к своей работе, к своим друзьям. Но все пошло не по плану. Эта незапланированная поездка сначала будто связала нас воедино тугой веревкой, а потом кто-то потянул за нее и выдернул нас из того кошмарного сна, в котором мы пребывали все последние годы, живя с полной уверенностью в том, что домой мы никогда уже не возвратимся. Галия заплатила своей жизнью за наше освобождение от этого наваждения. Жертва была просто

необходима, она стала тем мостом, который появился перед отцом, и мы пошли по нему вслед за ним в Оман. Этим мостом стал гроб, который мы несли на пустынное, голое, лишенное растительности кладбище аль-Авафи. С телом Галии, родившейся и прожившей всю жизнь в Каире».

Асмаа и Луна

Асмаа навестила отца, которого сразу после ее свадьбы поразила страшная горячка. Аззан, увидев дочь, приподнялся, подоткнув под спину подушки, и попросил ее почитать что-нибудь из аль-Мутанабби. Асмаа начала тихо, но затем вдохновенно продолжила:

Отвергнут я, и меры нет тоске,
И жизнь моя висит на волоске.

Взошла луна… Она ли мне нужна?
Я одинок, и ночь моя длинна…

Мне не страшны ни беды, ни хула,
Но без тебя и жизнь мне не мила…[31]

Отец с трудом поднял руку, и она замолкла. Ее взгляд упал на его запястье с седыми волосками. У него был такой сильный жар, что ей самой становилось душно рядом с ним. Ее смущали остатки хны на собственных руках. Она хотела набраться смелости, уложить его в кровать и погладить

---

[31] Сноски: 31
Перевод Г. Калашникова.

по голове. Но вместо этого она почувствовала стыд и вину, как будто надо было у него за что-то попросить прощения. Она потянулась через окно и затянула ветки растущей рядом крушины в комнату. Воздух в ней накалялся все сильнее. Ей почудилось, что души ее будущих детей парят вокруг деда и посылают ей знаки. Одновременно его лицо становилось мертвенно-бледным. Асмаа остолбенела и вышла из ступора, только когда отец вытащил из-под подушки потрепанную тетрадь. Асмаа всмотрелась: «Из заседаний судьи Юсефа бен Абдель Рахмана». Она взяла ее в руки, и тетрадка сама распахнулась на странице с нарисованным резным листочком. Аззан кивнул, и она приступила к чтению: «Знай, что Луна похожа на другие небесные тела и по ней мы ориентируемся в мирских делах. Если она в силе, все идет хорошо. Если с ней что-то не так, все валится из рук. Если Луна приближается к какому-либо небесному телу, то качества, заключенные в нем, усиливаются. Если Луна удаляется от него, его сила иссякает. А когда наступает полнолуние и Луна притягивается к Марсу, то это самое лучшее из времен, но если Луна убывает и находится в зоне влияния Сатурна, тогда жди самого страшного, что может произойти!»

Мать Абдуллы

Жители аль-Авафи говорили, что молодая и пышущая здоровьем женщина, какой была мать Абдуллы, не могла сгореть вот так за пару дней, у нее даже температуры, как у некоторых рожениц, не наблюдалось. Паучиха клялась, что она делала подношения духу Бакии со стола родившей, чтобы та ограждала молодую мать и ребенка от всех напастей. Она уверяла, что совершала обряд по всей строгости, себе не взяла ни крошки. Оставляла остатки с ее тарелки у камня, где обитает дух, и уходила прочь, не оборачиваясь. Зейд рассказывал, что незадолго до смерти покойница выкорчевала из земли куст базилика своей рукой, хотя могла попросить это сделать его. Она якобы сказала ему, что аромат базилика приманивает змей и она боится, не случится ли что с Абдуллой, когда он начнет ползать. Сестра Сулеймана заявила, что сама руководила приготовлением пищи для роженицы. Однако бедняжка становилась просто синюшной. «Не иначе как сглаз!» — высказался Зейд. Он-то знал, о чем говорил. Он частенько работал по ночам,

заботясь об орошении посадок, и встречался с нечистой силой лицом к лицу. Манин сокрушался, какой сердечной женщиной была покойная. Даже после родов она не забыла послать ему коробочку со сладостями. Мать же шейха Саида причитала, что Всевышний все видит и что каждому воздастся. Люди гадали, на кого она намекает. Зарифа хранила молчание.

Кузен Марван

Мать не раз пересказывала Марвану сон, который она видела, будучи им беременной, и дополняла его толкованием, которое дал судья Юсеф: «Ты родишь мальчика с чистой душой, имеющего особое предназначение». Сначала думали назвать его Мухаммедом или Ахмедом, но эти имена уже получили его старшие братья. И она назвала его Марван, в честь своего брата, который воспитал ее саму. Она верила, что сон ее был вещий, поэтому частенько называла сына еще и Тахером. Она делала все, чтобы заронить в нем интерес к наукам и вере, и с детства водила к шейху в мечеть. Ее старания были не напрасны: он вырос религиозным человеком, посещал мечеть по зову сердца и повторял наизусть хадис, в котором находил указание на то, что именно он спасется в Судный день. Он рос, почитая Всевышнего, не баловался, как другие дети, не любил заниматься ерундой, презирал бестолковое времяпрепровождение и пустую болтовню, созерцал мир вокруг, часто уходя в себя. Когда родители увезли его из аль-Авафи в Вади Удей, то

выбрали жилище специально рядом с мечетью, чтобы Марван-Тахер продолжал жить привычной жизнью.

Он был четвертым ребенком. Ахмед, Мухаммед, Касем, потом он, после — Хиляль и Ассем, и то, что он отличается от них всех, он осознал очень рано. Он чувствовал, как родители гордятся им, поэтому перестал играть с братьями и даже не разговаривал с ними, если находил тему ничего не значащей. Его появлению на свет предшествовало чудо, и он был послан сюда для великих дел!

Марвану-Тахеру было тринадцать, когда под покровом ночи он проник в спальню к родителям и вытащил из бумажника отца деньги. На следующий день он сам побил себя палкой и зарекся двухнедельным постом. Но через три месяца он прокрался в спальню к старшим братьям и стянул все купюры из кошелька Касема.

К шестнадцати годам его добровольный пост в наказание за воровство в общей сложности составил 8 месяцев и 14 дней. Соседи уверяли, что видят, как у него светится лицо, а глаза после воздержания от еды и отказа от мирских удовольствий излучают какую-то особенную благодать. Когда он шел по улице, девушки видели по его

походке человека, не снедаемого ни страхом, ни печалью. При этом он не обращал своего сверлящего взгляда ни на одну из них. Никто не видел на его спине следы от ударов, которыми он себя воспитывал за воровство денег, часов и одежды. Однажды он выкрал у матери серьги и даже ее тапочки. Марван носил всегда ослепительно-белые одеяния и не открывал понапрасну рта. А когда от долгого поста он еще и бледнел лицом, никто не сомневался в его праведности.

Ничто из того, что он стащил, как он признавался, ему не было нужно. Он сам недоумевал и не верил в то, что такой чистой души человек, как он, неистово бьющий поклоны в мечети, пробирается по ночам в чужие комнаты и присваивает какое-то старье и безделушки. Его раскачивало из стороны в сторону и разрывало на части до тех пор, пока он сам не услышал, как терзаемая страстями его личность трещит по швам. В голове все перепуталось: пророческое сновидение матери, распиравшая его важность, бессмысленные забавы и воровство. Его, который будет стоять в тени трона Аллаха, воровство! Его, Тахера, который подавил в себе все бренное и даже головы не поднимает, когда шагает по улице. И руки этого праведника сами тянутся к тому, в чем он никак

не нуждается.

Марван хранил свой грех в тайне, презирая себя в глубине души так же сильно, как окружающие его возносили. Он затыкал уши, когда опять слышал треск и надрыв, который не замечал никто, кроме него. Он все отчаяннее втискивал себя в рамки созданного людьми образа — вел аскетичную жизнь, постился, старался ни с кем не общаться. Но от этого только кололо в сердце.

Марван не просто никому об этом не рассказывал, он даже в молитве делал вид, что ничего не происходит, не помышляя о том, чтобы воздеть руки к Всевышнему и взмолиться о помощи, попросить наставить на путь истинный. Он был уверен, что знает что делать. Он Тахер[32], и ему нужно сохранять чистоту своей души. Он должен быть таким, каким представляют его люди, каким воображает мать. А если его рука еще раз потянется за тем, что ему не принадлежит, он ее отрубит.

Однако по прошествии некоторого времени, за которое умер его отец и мать уже оправилась от горя, он зашел ночью к ней в комнату и забрал флакон ее новых духов, серебряный кинжал отца

---

[32] Сноски: 32

Тахер — мужское имя, в переводе «чистый», «непорочный», «светлый».

и незначительную сумму денег, забытых на столе. И не успело рассвести, как он перерезал вены на своей вороватой руке отцовским кинжалом и лег в одиночестве, к которому всегда стремился, истекать до смерти кровью.

Сулейман

В девяностые годы позапрошлого века неурожай фиников заставил самого прозорливого из торговцев по имени Хиляль искать другой товар, суливший хорошую прибыль. Хиляль, унаследовавший от предков деловую жилку и сам имевший за плечами немалый опыт на рынке, решил, что подходящей заменой финикам могло бы стать оружие. Хотя султан Фейсал в 1891 году издал приказ, запрещающий оманцам вывозить через порт Гвадар[33] военное снаряжение, Хиляля и сотоварищей, которые тоже к тому времени смекнули, что лучшего источника постоянного дохода не найти, особенно если учесть, как нуждаются в оружии афганцы, это не остановило. Ящики с контрабандой принимали на своем берегу персы и хранили их на подпольных складах, пока не сбывали представителям афганских племен и белуджи. Некоторые из торговцев разбогатели, посылая оружие в Индию и Занзибар, но Хиляль продолжал сотрудничать с персами, полагаясь на то, что нет более безопасного порта,

[33] Сноски: 33
Гвадар — город в пакистанской провинции Белуджистан.

чем Гвадар. Вскоре бизнес пошел на спад из-за роста налогов на ввоз оружия. Тогда Хиляль, спасая свое верное дело, связался с компанией индийских торговцев, доставляющих оружие прямо из Европы. Во главе индийцев стоял некий Камджи Рамдас. 22 января 1908 года пароход «Гьедала» пришвартовался в порту Маската, и Хиляль забрал свою долю — полсотни ящиков с оружием. Винтовки повезло перепродать тут же в Гвадаре по семьдесят долларов за ствол. Вот тогда в момент озолотившийся Хиляль вознамерился стать зятем одного из шейхов аль-Авафи. Спустя десять лет его брака появился на свет Сулейман.

Хиляль надеялся, что после Сулеймана народятся еще дети. Но все они погибали в младенчестве. Люди поговаривали, что на Сулеймане порча и что поэтому он подозрительно сильно потеет и мрут его братья. Отца надоумили сводить мальчика к знахарю, который посадил Сулеймана перед собой и внимательно осмотрел его голову, по которой тек пот. Как только он нашел на голове точку, из которой бежала струйка, вскричал: «Поймал!», взял кочергу, нагрел ее и прижег это место на голове мальчонки как источник всех бед. После Сулеймана родился Исхак, а за ним беленькая худенькая девочка, все свое детство

просидевшая в углу, потом вышедшая замуж дважды — по очереди за своих двоюродных братьев по материнской линии — и дважды разведенная. Исхак пошел весь в мать — нерешительный и тихий. Сулейман же унаследовал хватку отца, его проницательность, высокий рост и стать, но вместе с тем вспыльчивость и прозвище торговца. В наследство от него же Сулейману достался просторный дом из глины. Правда, он торговал уже не оружием, а финиками, но настоящую прибыль ему приносила только работорговля.

Масуда, все еще тут

До Масуды, запертой в своей комнатенке, наконец-то дошло, что Шанна с мужем уехали навсегда и что она больше не увидит дочь. Теперь в еде и уборке надо было надеяться только на милость соседок. Голос ее звучал с каждым днем все тише: «Я Масуда… Я тут». Она сгорбилась до такой степени, что в деревне спорили: когда Масуда умрет, надо ли ее хоронить согнутой в три погибели или распрямлять ей спину? Настоящее Масуда воспринимала как в тумане, в то время как воспоминания прошлого ясно вставали перед ней. В памяти всплывали сцены, которые, казалось бы, должны были быть давно вытеснены и стерты: как она, собираясь по дрова, услышала голоса в комнате Сулеймана и из любопытства прильнула к оконцу. Хозяин с женой спали в разных комнатах, так как три недели назад она родила мальчика. Сестра хозяина постучала и, не дождавшись ответа, рванула дверь. Он вытянулся: «Все в порядке?» Она долго смотрела на него, потом произнесла: «Твоя жена».

Он схватил галабею и наспех начал одеваться:

«Что с ней? Ты говорила: брось рабынь, женись! Женился! Ты говорила, она родить не сможет, так она принесла сына. Что теперь?»

Он присел на край кровати. Она встала перед ним и проговорила своим шипящим голосом: «Я видела ее и Салима, раба шейха Саида, у куста базилика».

Сулейман задрожал. Не меняя тона, она закончила: «Не беспокойся! Уж я о ней позабочусь!» — и вышла.

В то утро Сулейману надо было ехать в Салялю по делам. А когда спустя три месяца он вернулся, жены уже не было в живых, над младенцем хлопотала тетка, а Салим исчез.

Масуда и забыла совсем про подслушанный разговор.

Абдулла

Я будто не между небом и землей в кресле на борту самолета, летящего во Франкфурт, а прилег, прижавшись к Зарифе, в восточном дворе нашего дома. Разглядываю на небе полную луну, а Зарифа приглаживает мне волосы и рассказывает сказку.

— Жила-была козочка со своими детками. Старших из них звали Зейд и Рабаб. И вот каждый раз, покормив их, собираясь из дома, она им наказывала: «Не отворяйте дверь, кто бы ни постучал! Придет волк и съест вас! А когда я вернусь, я вам пропою: «Ребятушки-козлятушки! Отворяйте дверку матушке! Это мама пришла, молочка принесла». Только тогда и открывайте!» Послушались детки. Но волк однажды услышал, как она им песню повторяла, дождался, когда коза уйдет, постучался и пропел тоненьким голоском: «Ребятушки-козлятушки! Отворяйте дверку матушке! Это мама пришла, молочка принесла». Только они дверь открыли, он на них набросился и съел! А коза вернулась, стучала-стучала, пела-пела, да что толку! Уперлась рогами в дверь, толкнула,

вошла, да никого дома нет. Побежала коза искать своих детушек. Всех, кого видела, спрашивала, да никто козлят не видал. Спросила она наконец голубку. И та сказала: «Волк здесь проходил с пузом. Не иначе как козлят проглотил. Следуй за мной, он на камнях лег вздремнуть». Но козочка поспешила сначала к кузнецу и попросила его наточить ей рога так, чтоб они стали острые-острые, что ножи. Застала она волка спящим, вспорола ему живот. Выбежали оттуда козлята живехонькие. И пошли они все домой.

Лондон

После каждого телефонного разговора с ним Лондон спрыгивала с кровати — плюшевый мишка летел в сторону. Она набирала Ханан и кружила по комнате как заведенная, пересказывая ей диалог с Ахмедом.

— Господи! Да ты знаешь, сколько сейчас времени?!

— Да послушай, Ханан! Представляешь, касыда, которую он прочитает на фестивале поэзии, будет посвящена мне!

— И что?

— Да как ты не понимаешь! Я его вдохновение, его муза.

— Ну, поздравляю! Можно я уже пойду спать? Я в поэзии мало разбираюсь, все больше в лаборатории сижу и показания снимаю.

Сразу после помолвки Лондон выскочила из дома и позвонила Ханан.

— Подруга! Кто самая счастливая девушка на свете? Я!

— Тысяча поздравлений! У вас свидание?

— Он только что от нас вышел.

— Вы целовались?

— Нет… Но он сказал, что нашей помолвкой мы стерли границы сословного неравенства и доказали искренность наших чувств.

— Он что, тебе лекцию прочитал, вместо того чтобы воспользоваться случаем тебя чмокнуть?

— Ну и характер у тебя, подружка!

Прямота Ханан ранила Лондон. Но она привыкла. Ведь подруга с самого начала ее донимала: «Ахмед? Поэт! Который каждый день с новой музой? А что за нескладные у него стишки! Чем он тебя зацепил? Мутный он какой-то, то отпустит бороду, то сбреет. Я его то в дишдаше вижу, то в джинсах. То не стрижется, то налысо побреется…»

Но Ахмед продолжал добиваться Лондон. Он забрасывал ее письмами по электронной почте, эсэмэсками, постоянно названивал, посылал голосовые сообщения, песни, фотографии, пока она не сдалась.

Когда мать это обнаружила, закрыла ее в комнате. Лондон возроптала, но мать была непреклонна, будто хотела увидеть своими глазами, как долго та будет сопротивляться и бороться за свою любовь. Отец сначала растерялся, но в конце концов поставил мать на место и дал согласие

на свадьбу Лондон.

В день помолвки, когда гости разошлись, Ахмед взял ее за руку и признался:

— Знаешь, Лондон, чем ты меня привлекла? Тебя не так легко добиться. Не так просто завоевать твою любовь… Но если ты полюбила, то искренне, ты до конца будешь отстаивать свою любовь, пойдешь против зашоренности и косности.

С первого дня их знакомства он повторял: «Зашоренность и косность», иногда добавлял еще «Сословное неравенство». Потом она случайно увидела его щебечущим с девушкой, возглавлявшей в университете литературный клуб. Он держал ее ладони в своих руках. Ахмед сконфузился, сел с Лондон в ее машину и заговорил в свою защиту первым, не дожидаясь нападения:

— Послушай, Лондон! Ты моя невеста, моя любимая. Не надо меня донимать своей ревностью, своим эгоизмом. Не надо быть такой фанатичной собственницей. Эгоизм — это косность. Ревность — от зашоренности. А чувство собственничества по отношению к ближнему — пережиток времен сословного неравенства. Я поэт… Я человек культуры… Мой дух парит в свободном полете… Как птица… Ах, вспоминают-

ся строчки из Махмуда Дервиша[34]… Птица не знает, где взлетит, где сядет. Путы меня душат. Мешают творчеству… Мне нужна женщина понимающая. Чтобы я был гуляющим в облаках ветром, а она — деревом, пустившим корни глубоко в землю.

В тот день Лондон ничего не сказала. Она надела белый врачебный халат и надкусила сэндвич, который он купил для нее в киоске. Ее глаза, пока она ела, были как раз на уровне его подбородка. Теперь он не задирал его так высоко.

Неделю спустя Лондон обнаружила фото этой председательницы литературного клуба у него в бумажнике и разорвала его в клочья.

— Вот дура! — вскричал Ахмед. — Фотка нужна была для приглашений на празднования в клубе. Что за бескультурье! Вот где отсталость! В голове!

С того дня он с ней не разговаривал.

Лондон мучилась. Ей надо было выговориться. Но Ханан только будет издеваться, наверняка скажет: «А я тебя предупреждала! Каждую новую касыду он посвящает очередной девушке!» Ханан ничего не понимает. Лондон же видит, как он ее

---

[34] Сноски: 34

Махмуд Дервиш (1941–2008) — палестинский поэт и писатель, обладатель ряда литературных наград.

любит. Он не врет. Все равно, кто был у Ахмеда до нее. Ей все равно. Главное, что ждет их впереди. Главное, чтобы все получилось. Она боится стать неудачницей. Патологически боится… Шел третий час ночи, и она позвонила ему.

На следующий день они ехали в машине с затемненными стеклами вдоль побережья. Он отказался выходить из автомобиля на ее предложение прогуляться. Слишком жарко! Взяв по мороженому, стали обсуждать будущее.

— Мне бы только закончить этот год, сдать экзамены, открою свой кабинет. А потом ты мне будешь помогать. Твой отец должен помочь нам начать свой бизнес. А потом… когда я прославлюсь как поэт, оставлю дело на тебя, а сам буду купаться в лучах славы. Ты будешь жена самого известного поэта Омана. Да что там! Арабского мира! — В полутемном салоне он притянул ее к себе.

Лондон собиралась поработать какое-то время после выпуска в муниципальной поликлинике, чтобы набраться опыта, а потом уехать в Канаду в аспирантуру по педиатрии и только после открыть частную приемную. Но она ему об этом не посмела сказать. Вдохнула аромат шампуня от его волос и растаяла в его объятиях. Представив,

как будут выглядеть их будущие дети, она обняла его крепче обеими руками. Лондон не была настолько глупа, все осознавала, но мрачные мысли гнала от себя.

Однажды Ханан сказала ей:

— Со всем моим почтением к чувству любви и влюбленным, ко всем песням о любви, к поэзии Низара Каббани[35], цветам, луне, Умм Кульсум[36], Абдель Халиму Хафизу[37] и всем звездам, но любовь лишает разума, лишает слуха, лишает зрения. Она парализует действия человека. Увидела какого-то типа в лекционном зале, потом переглянулась с ним на поэтическом вечере, перебросилась в коридоре парой фраз, созвонились, по сэндвичу съели в кафетерии поликлиники, по банке пепси выпили на парковке перед университетом — и что? Жить без него не можешь? Голову потеряла? Дышать без него нечем? Он тебе и солнце, и луна, и влага живительная? Откуда

---

[35] Сноски: 35

Низар Каббани (1923–1998) — сирийский поэт и дипломат, один из наиболее значимых арабских поэтов XX века.

[36] Сноски: 36

Умм Кульсум (1904–1975) — египетская певица, одна из наиболее известных исполнительниц в арабском мире.

[37] Сноски: 37

Абдель Халим Хафиз (1929–1977) — один из наиболее популярных египетских певцов и актеров.

весь этот бред? Твоя же бабушка тебя клянется убить, если ты за него пойдешь! Тебя колотят, разбивают вдребезги мобильный, закрывают, ты пары пропускаешь! Ради чего? Скажи мне! Таких, как он, пруд пруди! Он даже ростом ниже тебя будет. А ты — любовь, терпение, жертвенность! И что? Если вы не поженитесь, ты на себя руки наложишь? И это любовь называется? Ошибаешься! Ты ведь в него влюбилась, когда по телефону с ним болтала и переписывалась. Если ты не общаешься с реальным человеком, а только голос его слышишь, ты сама все себе додумываешь, ты и не представляешь, какой он на самом деле. Стишки, разговорчики по телефону, потом ты размечталась, и все! Либо замуж, либо в петлю? Все эти его призывы к сословному равенству! Как я в это не верю! Имей свою голову на плечах! У тебя могут быть свои принципы? Что он сделал ради тебя? Из-за него тебя мать истязает и бабка угрожает? А он ждет, чем это кончится? Разве это мужчина? Что же он не женится? А то туман какой-то, любовь, мечты. Он в действительности на что готов? Ведь жизнь — это не иллюзии, это ответственность, это дети. Человек, который тебя уважает и тебе подходит, возносить тебя будет, а не комплекс неполноценности в тебе

взращивать. Он о детях с тобой мечтать будет, а не позорить тебя своей любовью. Не любовь, а болтовня одна. Клянусь, Лондон, я полагала, ты умнее. Ты диплом получить хотела и уехать в Канаду доучиваться. А сейчас что будешь делать, если мать тебя закроет и не отдаст за него замуж?

— Я умру, — ответила Лондон.

Ханан перестала с ней общаться, затем пришло распределение в Дофар. Отказаться она не могла, иначе другого места не получить. А в Маскате без нужных знакомств работу не найти. Нет у ее семьи влиятельных знакомых. Оставшись без работы, она не оправдает их надежд. Отец на пенсии, мать хворает. Брат ее семь лет назад сватался, да так и не собрал калым со своей жалкой зарплаты. Ханан упаковала чемодан и уехала на юг, думая только о первой зарплате и о том, как поможет брату.

Через день Лондон позвонила ей и заплакала в трубку.

— Ханан, я уже слышать не могу о свободе, культуре и сословиях! Я уже сама себе не доверяю! Он у меня на телефоне входящие и исходящие вызовы каждый раз проверяет: нет ли какого подозрительного номера.

Ханан вздыхала.

— Не знаю, что тебе и сказать, дорогая! Он тебя недостоин.

— Я уже ничего не соображаю, как по замкнутому кругу бегу. Открыл вдруг для себя, что я худа и кожа смуглая, как будто раньше я не такая была…

— А что ты его стесняешься? Прямо скажи, что у тебя на уме!

— Я пробовала, он каждый раз говорил мне: «Не думай, что ты чем-то лучше меня. Я здесь мужчина. Состояние твоего отца для меня ничто».

— Господи! Да он больной! Дорогая! Дело зашло слишком далеко! Вы же только помолвлены! В смысле, до свадьбы дело-то пока не дошло.

— Расстаться? Я люблю Ахмеда. Он мечта всей моей жизни. Мы все преодолеем. Я не хочу, чтобы моя первая любовь закончилась крахом. Я не хочу, чтобы получилось так, что я зря боролась с родными за него, пошла против бабушки, против друзей, против всего мира. Не хочу остаться брошенной.

Однако ее первая любовь закончилась неудачей. Закончилась задолго до того, как она это признала. После всех унижений и страданий она пошла на разрыв, отказавшись от своих прежних

слов. Он стоял у двери ее автомобиля на парковке университета и умолял ее поговорить. Он загородил дверь и не давал ей сесть в машину. «Лондон! Ты моя! Не оставляй меня! Ты создана для меня! Ты будто из моей мечты вышла! Клянусь Аллахом, я не хотел тебя ударить! Я сожалею! Аллах свидетель! Прости меня! Я тебе ноги буду целовать! Прости! Я не хотел тебя обидеть и словом! Я тебя не хочу терять! Ты мне принадлежишь! Ты моя, Лондон! Ты мой триумф! Ты мое вдохновение! Ты моя! Ты не можешь оставить меня и уйти к другому! Клянусь Аллахом, этого не будет! Ты моя девушка! Ты жена мне! Я тебе руки целовать буду, не бросай меня! Мы поженимся, когда захочешь, назначим дату! В медовый месяц поедем в Европу. Откроем врачебный кабинет. Ты забыла, Лондон, о чем мы мечтали? Ты моя, Лондон! Мое вдохновение, моя любовь, моя собственность! Собственность! Собственность!»

Лондон ушла с парковки и направилась обратно в университет. Она твердила про себя: «Я не собственность, я ничья собственность!», но этого было недостаточно, чтобы очнуться и выздороветь. Ведь глубокие раны, даже если их обработать, не исчезают совсем, а стягиваются в уродливые шрамы.

Образ Ахмеда и его голос стали оружием, которое ее сердце направило против нее же. «Я ненавижу тебя! Ненавижу твой голос! Ненавижу, как ты выглядишь!» Лондон рвала все фотографии, но внутри у нее не было той ненависти, к которой она взывала. Она чувствовала только горечь и невыносимую, адскую боль.

Холя

После переезда Нассера в Оман, рождения еще двоих детей и появления у него привычки сидеть дома, если только не надо идти на работу, Холя решила развестись.

Все подумали, что она сошла с ума. Или здесь скрыта какая-то страшная тайна, которая подтолкнула ее к такому шагу?

Да Холя ничего и не скрывала!

Она не смогла пережить прошлого. Слишком размеренным все сейчас стало. Младший из пятерых ее детей — в средней школе, Мона просватана за подающего надежды инженера, у остальных все хорошо. Спокойно — хоть в гроб ложись. Все сложилось — семейная жизнь и материнство. Но только когда она облегченно вздохнула, в ее сердце проросла обида, идущая из прошлого. Она вскипала и вскипала в ней, пока Холя не стала от нее задыхаться. Не было ночи, чтобы Холе не привиделось, как та канадка с брелока от ключей присаживается на край ее постели. Каждый день она вспоминала, как лежала одна в родильном отделении, как перебирала ненадеванные дет-

ские вещи, которые залежались у нее, потому что отец детей понятия не имел, какой размер брать.

Годами ее кровать остывала, красота угасала. Детей в поликлинику возили соседи. Сестры ссужали в долг. Мать попрекала. А люди смотрели жалеючи.

Каждый день перед ней вставало прошлое и заостренным копьем пронзало ее насквозь.

Эх, Холя, ты только сейчас разобралась, словно из непроходимого леса выбралась? Ты где была раньше? Закрывала на все глаза?

Только посмотрите на нее! Она как сумасшедшая дырки делает в одеяле, которым раньше от всего мира прикрывалась!

Чего ты добиваешься? Сама не знаешь?

Стоит ей поставить ногу на ступеньку, как под ней проламывается вся лестница.

Сейчас она и внимания не обращает, что он с ней ласков, переживает, готов собой пожертвовать, чтобы ей услужить, в детях души не чает, не видит, как он искренен с ней, как верен, как уважает за все.

Она видит только себя стонущей после родов в пустой комнате, где надрывается от плача ребенок. Помнит ту череду зимних непогожих дней, когда ее тошнило каждое утро. Слышит, как он

шепчется и вздыхает по телефону, слышит рокот самолетов, которые десять лет подряд уносили его в Канаду. Детский крик, возня. И ее холодная постель.

Весь этот груз воспоминаний Холя несла в себе, добавляя к этой тяжести все новые детали, пока не надорвалась.

Как только он не умолял ее передумать, но она давно уже была глуха к тому, что он ей говорил. Какие только слова он не подбирал, чтобы она оттаяла, но они отлетали от ее барабанных перепонок, словно те были из стали. Да дело было не в словах! А в годах! Эти годы, из их наполненных одиночеством ночей и невыносимо жарких дней складывалась стена, за которой не слышны никакие слова. Из каждого дня, каждого часа, каждой минуты боли, разрушающей ее душу. Каждый день словно заносил мотыгу над почвой, на которой цвела ее любовь, и безжалостно перекапывал ее, перемалывал так, что ничего живого не оставалось и ничего уже не могло взойти.

Она хотела сказать ему: «Мне мало было надо, что-нибудь посади там — и оно даст всходы. Что-нибудь ты положил бы в мою протянутую руку. Письмо из одного слова. Полуночный звонок. Сон, в котором бы ты не отворачивал от меня свое

лицо. Один шаг навстречу мне. Один медленный разворот в мою сторону. Что-нибудь. Ухмылку. Вздох раздражения. Дешевую безделушку. Все это было бы так много для меня! Но не было ничего! Ничего! А сейчас всего этого вместе не будет достаточно!»

Она сжимала губы. Что сказать мужчине, для которого десять лет не существовало ни дома, ни детей? За эти десять лет у нее в душе были посеяны такие семена, из которых вылезли одни колючки.

Абдулла

Мы остановились в ас-Сибе, я припарковал свой «Лексус» у одного из тех новых фонарей, которые напоминали Бурдж-аль-Араб в Дубае. Мухаммед сидел рядом со мной. Он сказал, что она его ревнует как сумасшедшая, запрещает делать все, что он любит, просматривает телефон. Я выключил двигатель.

— Кто она?

— Моя жена, Мийя! — ответил он.

С заднего сиденья донесся сдавленный смешок. Не смог сдержаться! Вырвалось! Как мне знаком этот смех. Я опустил стекло, высунул руку и сказал, не оборачиваясь:

— Пап! Не надо смеяться надо мной! Тебя тут нет. Ты умер в тот год, когда Мухаммед родился.

Но в ответ раздался громкий хохот, и я увидел в зеркале заднего вида, как отец трясет белой бородой.

Мимо машины пробежал Салем. За ним на «Порше» гнались ребята постарше. Я развернулся к Мухаммеду, но увидел на его месте плачущую Лондон.

— Я не неудачница! Не неудачница! — твердила она. Мухаммед у нее на коленях мотал головой из стороны в сторону.

Машина исчезла. Мы с Мухаммедом брели вдоль берега. Он не был похож на больного. Даже присвистывал от хорошего настроения. Вдруг он сказал:

— Абдулла! Я больше не могу! Она прикончит меня своей ревностью!

— Да кто?

— Жена моя!

Я схватил его за рукав пепельно-серой дишдаши:

— Но ты же маленький! Ты не здоров! У тебя нет никакой жены!

— Меня убьет жена! — вскричал он. — Она роется в моем телефоне. Она запирает меня. — Он ударился об землю и заплакал навзрыд: — Она со мной так не возилась, как со своей швейной машинкой!

Изо рта у него потекли слюни, и он нервно стал водить руками по воздуху. Я набросился на него:

— Перестань! Ты нас позоришь!

Отец вырвал кнут из моей руки и швырнул его в море.

— Ты мертв! Зачем ты вернулся? — прокричал

я ему.

Он ушел, не оборачиваясь.

— Возьми его! Возьми Мухаммеда с собой, отец! — завопил я ему вслед.

Стемнело. Я услышал, как взревел мотор моей отъезжающей машины. За рулем была Лондон. Я взял Мухаммеда на руки. Мне пришло в голову, что он похож на рыбу. Я подошел к воде, нырнул с ним по грудь и ослабил руки, чтобы Мухаммед выскользнул и уплыл, как рыба. Я вышел из воды совершенно сухим.